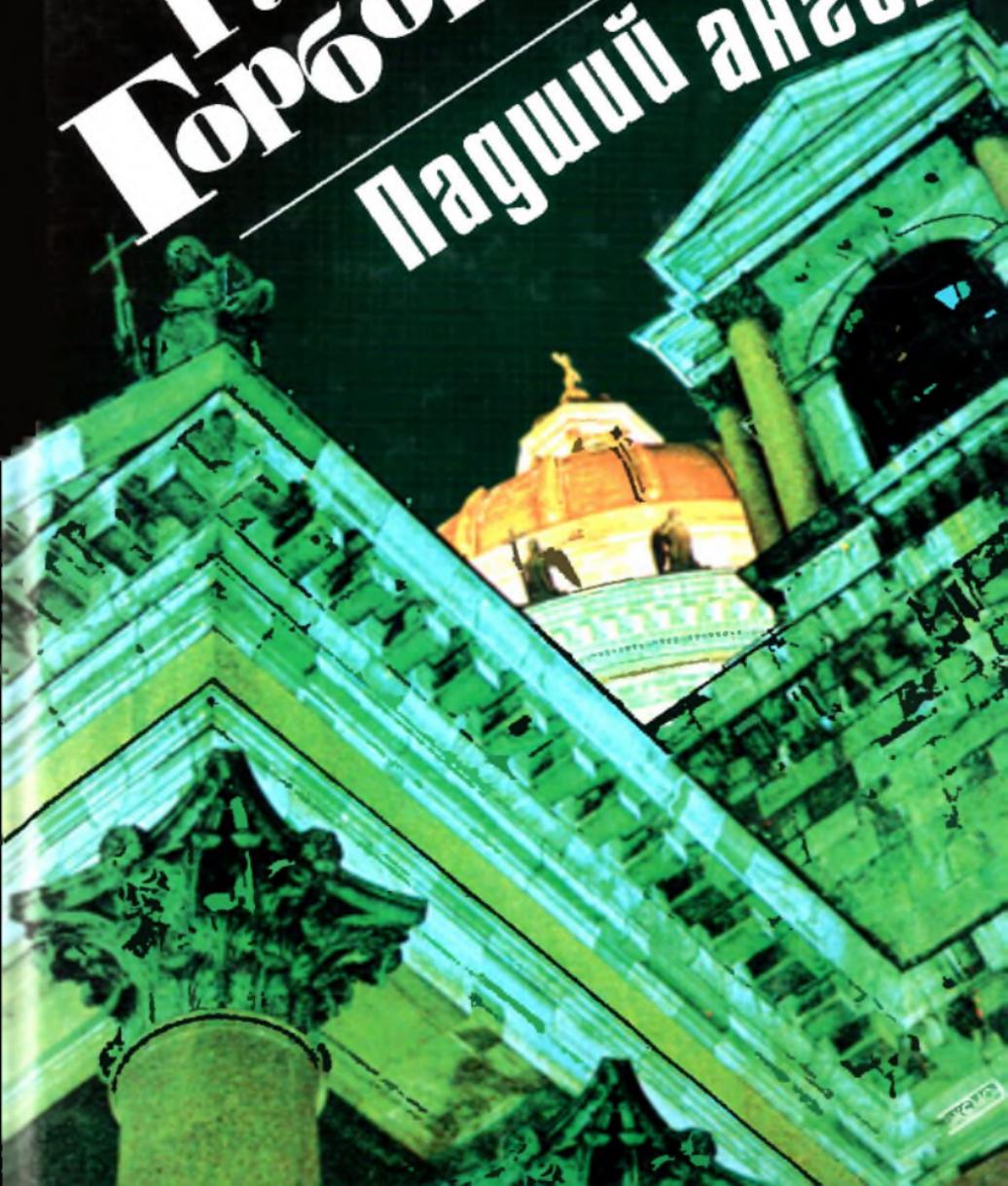


Глеб Горбовский Падший ангел



ИЗДАТЕЛЬСТВО

**Глеб
Горбовский**

**Падаший
ангел**



Trustopsee

**Глеб
Горбовский**

**Пагший
ангел**

•

Стихотворения

Москва
ЭКСМО-ПРЕСС
2 0 0 1

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-5
Г 67

Оформление художника *Е. Ененко*

Горбовский Глеб
Г 67 Падший ангел: Стихотворения. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. — 384 с., илл.

ISBN 5-04-007285-6

Глеб Горбовский — один из самых известных ленинградских (а ныне Санкт-Петербургских) поэтов-«шестидесятников», «последний из могикан» поколения Николая Рубцова, Владимира Соколова, Иосифа Бродского. Достаточно вспомнить его «блатные» песни 50—60-х годов: «Сижу на нарах, как король на именинах...», «Ах вы, груди, ах вы, груди, носят женские вас люди...». Автор более 35 поэтических и прозаических книг, он лишь в наше время смог издать свои неопубликованные стихи, известные по «самиздату» и «тамиздату». Глеб Горбовский 90-х годов — это уже новое, яркое явление современной русской поэзии, последние стихи поэта близки к тючевским традициям философской лирики.

Сборник издается к 70-летию со дня рождения и 50-летию творческой деятельности Глеба Горбовского.

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-5

ISBN 5-04-007285-6

© Составление, оформление. ЗАО
«Издательство «ЭКСМО-Пресс», 2001



Николай Рубцов

В ГОСТЯХ

Глебу Горбовскому

Трущобный двор. Фигура на углу.
Мерещится, что это Достоевский.
И желтый свет в окне без занавески
Горит, но не рассеивает мглу.
Гранитным громом грянуло с небес!
В трущобный двор ворвался ветер резкий,
И видел я, как вздрогнул Достоевский,
Как тяжело ссутулился, исчез...

Не может быть, чтоб это был не он!
Как без него представить эти тени,
И желтый свет, и грязные ступени,
И гром, и стены с четырех сторон!

Я продолжаю верить в этот бред.
Когда в свое притонное жилище
По коридору в страшной темнотище,
Отдав поклон, ведет меня поэт...

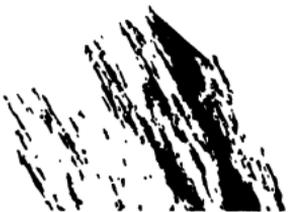
Куда меня, беднягу, занесло?
Таких картин вы сроду не видали.
Такие сны над вами не витали,
И да минует вас такое зло!

...Поэт, как волк, напьется натошак.
И неподвижно, словно на портрете,

Все тяжелей сидит на табурете
И все молчит, не двигаясь никак.

А перед ним, кому-то подражая
И суетясь, как все, по городам,
Сидит и курит женщина чужая...
— Ах, почему вы курите, мадам! —
Он говорит, что все уходит прочь
И всякий путь оплакивает ветер,
Что странный бред, похожий на медведя,
Его опять преследовал всю ночь,
Он говорит, что мы одних кровей,
И на меня указывает пальцем,
А мне неловко выглядеть страдальцем,
И я смеюсь, чтоб выглядеть живей.
И думал я: «Какой же ты поэт,
Когда среди бессмысленного пира
Слышна все реже гаснущая лира,
И странный шум ей слышится в ответ?..»
Но все они опутаны всерьез
Какой-то общей нервной системой:
Случайный крик, раздавшись над богемой,
Доводит всех до крика и до слез!
И все торчит.
В дверях торчит сосед,
Торчат за ним разбуженные тетки,
Торчат слова,
Торчит бутылка водки,
Торчит в окне бессмысленный рассвет!
Опять стекло оконное в дожде,
Опять туманом тянет и ознобом...
Когда толпа потянется за гробом,
Ведь кто-то скажет: «Он сгорел... в труде».

9 июля 1962



**Когда
качаются
фонарики
ночные...**



Историческое
факеловое письмо

Когда как-то факеловое письмо,
и темная улитка она же была хороша,
и из кубовидных букв
я пишу тебе письмо,
я пишу тебе письмо в силах колдовских..

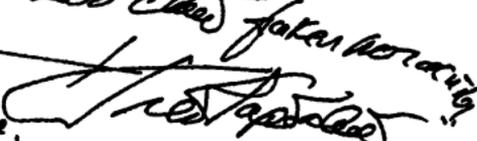
Мне дельца когда целована, как счастливой,
одна вдова со своей кровкой она же.
А над факеловыми письмами
всегда и там у всех,
а мое письмо - крепче и кубовиднее!

(факеловое, так ага -
Нордвик...)

Суть на факелах, как кубовидных букв,
и как бы письмо письмо письмо,
Знаю, как как в алге,
Теперь мне все ясно,
Я факеловое письмо пишу тебе!

1953.

Черноморск

Соб. Архив. 



50 — 60-е годы

ФОНАРИКИ НОЧНЫЕ

Когда качаются фонарики ночные
и темной улицей опасно вам ходить, —
я из пивной иду,
я никого не жду,
я никого уже не в силах полюбить.

Мне лярва ноги целовала, как шальная,
одна вдова со мной пропила отчий дом.
А мой нахальный смех
всегда имел успех,
а моя юность пролетела кувыркком!

Сижу на нарах, как король на именинах,
и пайку серого мечтаю получить.
Гляжу, как кот, в окно,
теперь мне все равно!
Я раньше всех готов свой факел погасить.

Когда качаются фонарики ночные
и черный кот бежит по улице, как черт, —
я из пивной иду,
я никого не жду,
я навсегда побил свой жизненный рекорд!

Череповец, 1953



ЮНОСТЬ

Пили водку, пили много,
по-мужицки пили — с кряком.
А ругались только в бога,
ибо он — «еврей и скряга».

Кулаки бодали дали,
кулаки терзали близи.
На гвозде висевший Сталин
отвернулся в укоризне.

Пили водку, пили смеси,
пили, чтоб увидеть дно!
Голой жопой тёрся месяц
о немытое окно.





ВИЗИТ

Из цикла «Незабываемый 37-й»

Постучали люди в черном.
Их впустили, как своих.
Папа мой сидел в уборной,
сочинял для сына стих.

Мама ела торт «полено»,
я, дурак, жевал картон.
И вибрировал коленом
звездолобий пинкертон.

Он стоял в дверях, чугунный,
неподкупный, — враг врагов!
Торс гитары семиструнной
на стене — из двух подков.

И, вонзаясь в грудь комода,
пропотели вдруг в труде
представители народа —
два лица энкаведе.

Разве можно книги мучить?
Зашатался книжный дом.
И упал из шкафа Тютчев
к сапогам двоих — ничком...

Нехорошие вы люди,
что вы роетесь в посуде,
что вы ищете, ребята?
Разве собственность не свята?



НА СМОЛЕНСКОМ КЛАДБИЩЕ

*На воротах Смоленского
кладбища в свое время висел
громкоговоритель*

На кладбище «Доброе утро!» —
по радио диктор сказал.
И как это, в сущности, мудро!
Светлеет кладбищенский зал.
Встают мертвяки на зарядку,
тряхнув чернозем из глазниц,
сгибая скелеты вприсядку,
пугая кладбищенских птиц.
Затем они слушают бодро
последних известий обзор.
У сторожа — пьяная морда
и полупокойнический взор.
Он строго глядит на бригаду
веселых своих мертвецов:
«Опять дебоширили, гады?» —
и мочится зло под крыльцо.
По радио Леня Утесов
покойникам выдал концерт.
Безухий, а также безносый
заслушался экс-офицер.
А полусквозная старушка —
без челюсти и без ребра —
сказала бестазой подружке:

«Какая Утесов мура...»
И вот, неизбежно и точно,
по радио гимна трезвон...
«Спокойной, товарищи, ночи!»
И вежливость, и закон.





МОЕЙ СОСЕДКЕ

Я мою соседку искалечу.
Я мою соседку изобью.
Я ее в стихах увековечу,
чуждую, и все-таки... мою.

Я соседку выдерну на кухню,
я обрежу ей электросвет.
Пусть, непросвещенная, потухнет.
Я куплю в «Березке» пистолет!

Наведу его на всю квартиру,
разнесу филенки и мозги...
Я принципиально против мира,
я — за бомбу, не за пироги!
...Что насторожились, дураки?





* * *

Ребенок вымочил усы
на дождесеющей погоде...
И две ладони, как весы, —
как балансировали вроде.
Ребенок жалобно икал.
Он тонок был и хил, и гнулся.
Он сорок лет себя искал
и, не найдя, назад вернулся.
Стоит в осеннем мандраже,
дрожит, поддерживая брюки.
И не берут его уже
ни на руки, ни на поруки.
И никому до пьяных глаз
ни дела нет, ни интереса.
А век возносит к звездам нас,
голубоватый от прогресса!





* * *

Если есть они, глазастые,
существа иных миров, —
им видна планета красная,
цвета крови! Кровь — покров.

За войной война вздымается, —
кровь друзей и кровь врагов
шире моря разливается —
аж не видно берегов...

Впитывается и окрашивает
кожицу эпох в свой цвет.
...Маленькая, а какая страшная
человеческая из планет!





ПОЭТ ИЗ КОММУНАЛКИ

На кухню вызвали поэта!
И подбоченились жильцы.
Соседка пепельного цвета
взяла поэта под уздцы.
Затем на спину взгромозилась,
затем — пришпорила бока!
Отцы-самцы заходят с тыла,
как безысходная тоска:
«Вы что же, милый, в туалете
не сполоснули унитаз?
И на общественном паркете —
дежурство ваше — ваша грязь!
У вас дебоши каждодневно:
поют, стихами говорят!» —
жильцы притоптывают гневно,
кусить десною норовят.
«Па-ает! Рифмач! Наверно, контра?!
Небось похабщина? Смотр-ри!»
Поэт отрезал руку бодро —
свою... Отдал соседке — жри.
Оттяпал ногу по колено
и протянул отцу-самцу.
Затем чугунно-вдохновенно
себя ударил по лицу.
И голова тугим арбузом
упала в мерзкое ведро...

Жильцы ушли с набитым пузом.
Их богатырское нутро
не поглотило только красный,
расплавленный комок в груди...
О, как прекрасно-безобразно
маячит слава впереди!





* * *

Мы сидели чинно в парке,
ели пряники, молчали.
Пароход шипел и харкал
ниже парка — на причале.
Кто-то ерзал на гармошке
упоительно и тошно.
На деревьях пели кошки
одинокое и тревожно.
А на пристани у кассы
мы расстались, как на сцене.
Ели пряники напрасно —
без идеи и без цели.
Пароход затем отчалил,
увозя твою прическу.
Я остался на причале —
молодой и трезвый в доску!





ЗЕМЛЯ

Круглая... И нету ей врача,
если заболит почему-то...
Мне все чаще страшно по ночам
из-за Магелланова маршрута.
Круглая... Так честная вдова
остывает, старости подвластна.
И, выходит, Ленин-голова
для других старался понапрасну.
Звезды гаснут и не на Кремле,
мрут не только люди, но — планеты...
Я б желал медлительной Земле
превратиться к финишу в комету!





* * *

Переехало собаку колесом.
Слез не лили, обязательных, над псом.
Оттащили его за ногу в кювет.
Оттащили, поплевали, и — привет.

И меня однажды за ногу возьмут.
Не спасет, что я не лаю и обут.
Что, по слухам, я — талантливый поэт.
Как собаку, меня выбросят в кювет.

Потому что в черной сутолоке дня,
как собаку, переедут и меня.

Сахалин, 1958





С ПОЛУЧКИ

Пьяные бабы множат морщины.
Пьяные ползают черви-мужчины.
Пьяные руки не цепки, но липки.
Пьяные с губ облезают улыбки.
Пьяные ноги дубасят в настилы.
Пьяные зубы скрежещут, как пилы.
Все позабыто, сбыто, пропито.
Пили, как лошади из корыта.
Били копытами в землю и в небо!
Не было Пушкина! Не было, не было...

Сахалин, 1958





БЫВШИЕ ЛЮДИ

На тряских нарах нашей будки —
учителя, офицерье...

У них испорчены желудки,
анкеты, нижнее белье.

Влетает будка в хлам таежный,
все глубже в глушь, в антиуют.
И алкоголики — тревожно —
договорятся и запьют.

На нарах — емкостей бездонность,
посудный звон спиртных оков;
на нарах боль и беспардонность,
сплошная пляска кадыков!

Учителя читают матом
историю страны труда.
Офицерье ушло в солдаты,
чтоб не вернуться никогда.

Чины опали, званья стерлись,
остался труд — рукой на горле!
И тонет будка в хвойной чаще,
как бывшее — в происходящем.

Сахалин, 1958





НА КЛАДБИЩЕНСКОЙ УЛИЦЕ

Каждый день гробы на катафалках
свозят на кладбищенскую свалку.
Мимо окон
с музыкой прощальной,
с минимальной кучкою скорбящих,
проезжает грузовик печальный,
увозящий
сложенное в ящик.
Иногда без музыки гундосой,
сторонясь живых на перекрестках
и не отвечая на вопросы,
мрачная проносится повозка.
...Каждый день за солнечным окном
мне напоминает об одном:
все идет туда,
куда вставляют клизму,
а — не к коммунизму...

*Оха, Сахалин,
1958*





КАКОВО?

Каково на свете птицам
без орудий производства
строить гнезда и кормиться
без основ животноводства?

Каково зверью на свете
убивать без револьверов,
не читать, как чтут в газете
твой грабеж больших размеров?

Каково ползучим гадам
вечно лежа и ни разу,
ковыряя носом падаль,
не надеть противогаза?

Каково на свете людям —
мы и спрашивать не будем.





СЛЕЗЫ ЖЕНСКИЕ

Защитный рюкзак за спиной,
и ноги — в сапожной резине...
Любимая женщина — мной —
завязла в болотной трясине.
На небе — звезды не найдешь...
Вода в сапогах леденела.
Клешнями сграбастала дрожь
красивое женское тело.
А в небе летел самолет,
двукрылый трещал «кукурузник».
Не знал, вероятно, пилот,
что ниже — в Советском Союзе —
в болоте,
с душой, с рюкзаком,
с любовью, с банкой консервов,
с раскусанным в кровь языком,
с разорванной пряжей нервов,
в зловонном болоте — жива! —
еще бесподобна и зряча,
торчала, крича, голова,
впервые... естественно плача!





* * *

А землю трогает снежок
и все не тает... А пора бы!
За щеки вставив пирожок,
идут смышленные прорабы.

Они задумали завод,
они поднять его решили
среди пружинистых болот,
где до того — лягушки жили.

И просиял небесный свод,
и вздрогнул лес, как от щекотки!
...Они задумали завод
по производству белой водки.

Сейчас начнут повелевать,
сейчас закурят для начала.
И наш завод начнет вставать
и озираться одичало!





У СВОЕЙ МОГИЛЫ

В. Топорову

Плита чиста. Могила без названья.
Два лопуха: в ногах и в головах.
Сижу на металлическом диване,
как птица или скорбная вдова.

Я знаю, что лежу под этим камнем,
что я исчез с лица моей земли,
что я лежу с уставшими ногами,
что женщины меня не сберегли.

...Удар слезы потряс лопух дремавший.
Известно, что я умер молодым.
Что я зарыт в поношенной рубашке,
голодный и нечесаный, как дым.

По кладбищу слоняются старухи,
неслышные, как заспанные мухи.
А я лежу, считая от тоски —
слоновые старушечьи шаги.





ПЕСЕНКА ПРО ШОФЕРА

Он вез директора из треста
на «Волге» цвета изумруд...
Не суждено было до места
доехать тем, кого везут.

На самом резком повороте
хватил шофера паралич.
В предсмертной жалобной икоте
упал на руль шофер Кузьмич.

Директор делал выкрутасы,
баранку рвал у мертвеца.
Но ни одна на свете трасса
ведь не бывает без конца.

Она кончалась магазином,
где ювелир, как изумруд,
стоял, роскошный рот разинув,
сказав: «Сейчас меня убьют...»

Вот так убили ювелира.
Убил его мертвяк-шофер.
И поэтическая лира
на том кончает разговор.





Глебушка Горбовский накануне Великой Отечественной войны
и скитаний. Об этом он расскажет в автобиографических
записках «Остывшие следы. Записки литератора».
Фото из архива Г. Горбовского



СКВОЗЬ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ

Из книги «Остывшие следы. Записки литератора»

Ариаднина нить нескончаемых видений... Вот одно из самых ранних, ласковое: зимнее, просторное, бело-голубое солнечное утро возле огромного, лохматого от инея Исаакиевского собора. Отец в необъятной медвежьей (почему-то именно медвежьей) шубе держит меня за руку. Мы выходим к собору от Конногвардейского бульвара, где задержались возле гаража (здание бывшего Манежа, ныне — выставочный павильон). Машины выезжали из гаража блестящие, ухоженные и все черные. Гараж принадлежал органам ГПУ. Машин до войны в городе было не так уж и много. Я любовался ими столь же искренне, как животными в зоопарке.

Камни Исаакиевского собора, покрытые пушистым инеем, почему-то ярче прочего легли на мое тогдашнее воображение. Собор в шубе. Шуба отца и шуба собора. Прямая связь. Впоследствии в быту и в стихах (своих и посторонних) я еще долго, и чаще невольно, буду прослеживать эту связь человеческого с неодухотворенным, природным, черпая в пантеистических иллюзиях не только умиление, но и определенные надежды.

Кстати, по рассказам отца, именно эта неразговорчивая и немыслящая шуба на первых порах помогла ему выжить в холодном трюме ладожской

баржи и там, под Пудожем, за Онегой на лесоповале, и вообще оставила в его судьбе след гораздо более отчетливый и милосердный, нежели некоторые из впечатлений, навязанных памяти созданиями «одушевленного ряда».

Позже, встречаясь и разговаривая с отцом уже как бы на равных, не единожды спрашивал я родителя описать хотя бы в отдельных штрихах годы, проведенные им в заключении. Но отец только неопределенно улыбался, глядя куда-то туда, в невозвратное.

«Пропадет, сотрется в памяти поколений... — убеждал я его. — Кто, если не вы, расскажет?!» «Помнить зло — грех», — отвечал мне отец, погасив улыбку. Однако под настроение, чаще всего после «мурлыканья» под гитару, отложив инструмент, прервав недопетый старинный романс «Счастливые годы, веселые дни», начинал рассказывать «про это». Со вновь всплывшей улыбкой на губах и неподдельной искрой во взоре. И вот что удивительно: рассказывал он только о хорошем — скажем, про то, как в камере, в невообразимой людской гуще, когда пересыльная тюрьма трещала по швам от «перевыполнения плана», какой-то совершенно незнакомый человек уступил ему место, свое, пусть мизерное «жизненное пространство», столь необходимое тогда отцу для короткого, сидячего, воскрешающего сна; иногда в его памяти оживало что-нибудь «веселое»: к примеру, в «Крестах», арестованная за антисоветскую агитацию, сидела в ожидании этапа группа... глухонемых — четыре человека, на которых был донос от такого же, как и они, глухонемого (не приняли в свой круг?); или про то, как в лагерном бараке, в первые дни отбывания, после изнурительной для бывшего учителя работы в тайге

замешкался он у котла при раздаче горячей пищи, так как не имел, обворованный на этапе, ни собственной миски, ни собственной ложки, и кто-то протянул ему ложку с миской, не ополоснутые, и он, чтобы не обидеть своей врожденной брезгливостью доброго человека, ел из немытого «прибора» со слезами благодарности на щеках, ел и ничего, кроме радости за людей, за братьев своих по счастью жить, не испытывал. Еще рассказывал о том, как после пересказа в бараке соседям по нарам романа Достоевского «Преступление и наказание» неожиданно перевели его с «повала» на более легкую работу — маркировку бревен, а затем, когда в лютые морозы он совсем «доходил» и, обмороженный, истощенный, попал в санчасть, доктор почему-то оставил его у себя санитаром. Не дал помереть.

Блуждая в лабиринте пережитого, еще не раз буду я говорить об отце, а к видениям этой главки в качестве мажорного аккорда хочу добавить курьезный эпизод из своего омраченного разлукой с отцом детства.

В нашей извилистой, какой-то многоярусной и многоступенчатой коммунальной квартире на Малой Подъяческой, похожей на цепочку труднопроходимых горных пещер, проживала ничья бабушка, спавшая в проходном коридоре на сундуке под портретом наркома Ежова. На другой день после того, как пришли за моим отцом, молчаливая эта бабушка, беззубая, с гофрированными, морщинистыми губами, с ввалившимся, словно зашитым ртом, угощая меня хлебной тюрей с луком, которую замешивала в огромной фаянсовой кружке, почерневшей по краям от былых «замесов», неожиданно открыла рот и, глядя меня по голове, сообщила, жутко при этом улыбаясь:

— Сынок, а батьку твою эвон кто заристовал, — и ткнула вверх и одновременно себе за спину крючковатым костяным пальцем.

— Кто, бабушка Уля?

— А энтот с ромбами, на патрете который. В яжовых рукавицах.

В коридоре горела тусклая пятнадцатисвечовая лампочка. Портрет едва просматривался. Но все ж таки я определил, что никаких рукавиц, тем более ежовых, колючих, на дяденьке не было. А затем решил, что для них просто не хватило места на «патрете», не влезли в раму.

К тому времени я уже хорошо стрелял бумажными пульками-птичками с двух пальцев, промеж которых натянута резинка из трусов. Помню, как с замиранием сердца подкрадывался я к портрету и, выбрав момент, когда бабушка Уля, занятая тюрей, отворачивалась, недолго прицеливался, быстренько стрелял в портрет и стремительно убегал прочь. Но бумажные пульки, как догадался я вскоре, не причиняли портрету вреда, отскакивая от него.

...Вскоре по исчезновении отца я выкрал в коридоре на вешалке из постороннего, «общественного» кармана несколько «беломорин» и, запершись в уборной, попробовал курить. Из дымящегося туалета меня извлекали всей квартирой. Мать тогда впервые, и одновременно в последний раз, применила ко мне «ремешковое воздействие».

Затем из чувства протеста стал сбрасывать в колодец двора различные мелкие вещи. И однажды угодил сырым куриным яйцом в незнакомого человека в шляпе, который по каким-то признакам сумел определить квартиру и даже окно, из которого выпало яйцо. И меня пытались уличить в содеянном, а я заупрямился, уйдя, как говорили профессиональ-

ные уголовники, в несознанку. И в дальнейшем не раз нападало на меня сие паралитическое упрямство, когда я держался своей версии, стоял на своем, и тут уж хоть к стенке ставь — по принципу схватывания бетона: чем дольше уговаривают, тем тверже мое упрямство.

Отца увели, и я знаю, что он держался на допросах в доме на Шпалерной молодцом. Его просили и заставляли признаться в том, чего он не совершал. Он поначалу даже заупрямился, вроде меня, и тогда его ударили по голове какой-то огромной книгой, произведением полиграфического искусства, но вряд ли это была Библия, скорей всего — какой-нибудь справочник, или словарь, или свод политических речей, а может, и вовсе «Капитал» К. Маркса. От страшного удара по голове у отца выскочил глаз из глазницы, искусственный, вставной, но этого было достаточно, чтобы допрос на тот день прекратился. По-разному действуют на людей всевозможные непредсказуемые эффекты. На нервного следователя выпадение «глаза» подействовало отрезвляюще, если не удручающе. Во всяком случае, принадлежность отца к партии меньшевиков больше ему не вменялась, и в дальнейшем его повели по другому пункту, обвиняя в элементарной антисоветской пропаганде и агитации — ст. 58, п. 10.

Неоднократно упрасивал я отца повспоминать о том времени на бумаге — в виде кратких записок-заметок или хотя бы писем; отец неопределенно кивал, заинтересованно хмыкал, но заниматься сочинительством не спешил: сказывалась застарелая болязнь «репрессантов» к разного рода дневникам и записным книжкам, подчас служившим в тридцатые годы не столько литературными принадлежностями, сколько — вещественными доказательствами.

Довольствуясь устными рассказами отца, я, конечно же, приведу ниже эпизод — другой из его «политической» эпопеи. Но вот что в связи с этим беспокоит меня. Все наши теперешние мужественные откровения, решительные и смелые шаги в печати почему-то стремительно и благополучно устаревают, требуя не просто Правды, но... сенсаций. А стало быть, раскрепощение общественной мысли идет на каких-то иных, более внушительных скоростях, нежели скорость «приподнятия завесы» над ранее недозволенным. Не успели рассказать правду о Сталине, замерев, как перед прыжком без парашюта, а... тема уже «навязла» и не таит в себе ничего не только пророческого, но и сенсационного, кроме заурядной политической «бесовщины», «шигалевщины». Потому как дело-то, оказывается, не столько в культе или застое, сколько в нашей всеобщей бездуховной нацеленности той поры. То есть в потере ориентации дело.

За два дня до ареста отцу было видение. Отец рассказывал мне об этом видении ежегодно в течение последних тридцати лет. И рассказ его был прочтен, с годами не рассыпался в подробностях, не тускнел и не ржавел.

За два дня до ареста отец пришел с работы и прилег перед ужином на диван. Хорошо помню этот диван, других диванов в комнате не было, и еще потому помню, что спинка дивана загоразживала собой неглубокую нишу, видимо, бывшую, дореволюционной планировки, дверь, напрочь заделанную в коммунальных условиях. В чем-либо провинившись, имел я обыкновение забираться за спинку дивана и прятаться от сурового отцовского взгляда в нише. Над диваном висела «Мадонна», копия с какой-то западноевропейской картины, в тяжелой золоченой

раме, купленная родителями в комиссионке. Картина сия придавала нашей ничтожнейшей комнатухе вид ничем не оправданного благополучия, и прежде всего — внушительностью рамы и темы сюжета.

Единственное окно девятиметровки выходило в глубочайший и темнейший двор-колодец, благодаря чему обиталище сие никогда не посещали солнечные лучи — ни прямые, ни косые, а на стенах длительное время не выгорали обои (хоть какая-то польза от ситуации).

Прилег отец на диван, притомившись на работе в школе, где обучал василеостровских старшекласников русскому языку и литературе, и, не закрывая глаз, не задремав даже, совершенно отчетливо видит, как в комнату вошла его мать Ириньюшка, умершая пять лет назад и похороненная в ста двадцати километрах от Ленинграда — в Луге. Вошла, присела на диван, в изножье, отец даже ноги подобрал, чтобы ей удобнее сидеть, а сама она плачет, слезами обливается, и не беззвучно, а со всхлипами. Одной рукой подбородок себе подперла, пригорюнилась, другой — слезы с лица сгоняет, согнать не может.

Тогда отец и спрашивает:

— Мама, почему ты плачешь?

А Ириньюшка молчит и все плачет и плачет. Отцу стало неприятно, что мать плачет, а он врастяжку лежит и ничем ее утешить не способен. Хотел приподняться, приласкать старуху, но что-то держит его плашмя, не дает шевельнуться. И тут плачущая, судорожно вздыхая, отчетливо произносит:

— И ждет тебя холод и голод...

Сказала и, жалостливо посмотрев на отца, вышла из комнаты. Будто соседка Пелагея или «ничья» бабушка, живущая на сундуке в коридоре, ко-

торые к нам заходили редко, так как боялись хмурого, «ученого» отцовского взгляда.

А в ночь перед самым арестом отцу приснился товарищ Сталин. В тридцатые годы такой сон считался плохой приметой.

Вот как через двадцать лет отпечаталась «меланхолическая» сценка разлуки с отцом в одном из моих «неунывающих» стихотворений — «Визит»:

Постучали люди в черном.
Их пустили, как своих.
Папа мой сидел в уборной,
сочинял для сына стих...

Могут спросить: почему столь несерьезно — о трагичном? Особенно те могут спросить, у кого плохо с юмором. На что отвечу так: во-первых, свойство характера — улыбаться там, где не положено; во-вторых, и впрямь слишком много в нашей стране, в ее истории (дальней и ближней) если не смешного, то весьма забавного. Свойство нации? Вряд ли. То есть — гораздо шире. Если у нас — Гоголи да Салтыковы-Щедрины, то у них — Джонатаны Свифты и Франсуа Рабле, у нас — Кирша Данилов и Протопоп Аввакум, у них — Мюнхгаузен и Уленшпигель, у нас — князь Мышкин, у них — Дон Кихот, и наоборот: у них — Тартарен из Тараскона, у нас — Теркин (с того и этого света).

Смешное не есть преступное. Оно может быть трагичным под воздействием беззакония, насилия. Но оно не может быть безнравственным, потому что по природе своей добродушно. Смешное не есть насмешливое, впитавшее в себя элементы убийственного сарказма, то есть — зла. Улыбка, вытесняющая с лица человека оттенки печали, отчаяния, ужимки скуки, гримасу ужаса, — великое благо, дарованное нам свыше.

Смешное по своей природе ближе к возвышенному, нежели всяческое угрюмство и сердечный мрак, возникающие возле житейской грязи и ядовитых испарений, неважно, откуда исходящих — от диалектического материализма или так называемых религиозных предрассудков.

Недаром в устные воспоминания отца о «године страданий», как золотые песчинки, вкраплены искорки смешного или возвышенного и гораздо реже возникают в них болотные пузыри всевозможной мерзости, сопутствующей человеку, униженному не-свободой и прочими производными насилия. Да и полопались они в памяти незлобивой, пузыри эти, боль содержащие, ибо дьявольская природа их противна смыслу утверждения на земле всего сущего, прочнодуховного.

Разве не смешны, особенно по прошествии лет, те смертные грехи отца, на перечислении коих строилось предварительное (следственное) обвинение его в контрреволюционной и антисоветской агитации и пропаганде, а также — принадлежности к «организации»? Перечислим некоторые из них.

Во-первых, создал «меньшевистскую группу» в количестве... двух человек, куда входили отец и его товарищ по работе, некто Посошков, тоже учитель, с которым отец время от времени сживал за стаканом чая и который довольно искренне поругивал «порядки», подбивая отца на «откровенные разговоры», сводившиеся к крамольному выводу, что власть в стране «захватили жидаы». Отец, не поддаваясь на провокацию и уже чуя, что дело неладно, пытался переменить тему разговора, направляя ее в «литературно-художественное» русло. Самое забавное или комическое, по мнению отца, выявилося на суде, то есть в итоге, когда его подельник, активней-

ший член «группки» Посошков из разряда преступников перешел в категорию свидетелей обвинения, и приговор выносили уже одному отцу, что означало оскудевание членства в «организации» до... одного человека и что Посошков, пожалуй, являлся вовсе не тем, за кого себя выдавал. То есть — не только учителем географии, но и кем-то еще.

Во-вторых, в обвинительных умозаключениях значилось, что «группка» сия целью своей ставила физическое уничтожение наркома путей сообщения Лазаря Моисеевича Кагановича. Смешно? Комично? Дивно? Учитель словесности, начитавшийся великих идеалистов, с юных лет отрицавший насилие даже «во благо» (в отличие от Родиона Романовича Раскольникова из «Преступления и наказания»), еще при поступлении в институт недавним красноармейцем не побоявшийся на вопрос комиссии — почему не в партии? — честно признаться, что он верит в Бога и положит жизнь «на ниве просвещения русского народа», обвиняется в намерении убить не какую-то там безвестную старушку, а самого Кагановича! Разве не смешно? Разве отец после всего этого — не Акакий Башмачкин, у которого вместе с шинелью «социального приткновения» отобрали свободу, растоптав по доносу сексота наивные отцовские восторги, надежды и верования (не Веру!), развалив его молодую семью? «А шинель-то наша!» И поди докажи обратное. Очень русский юмор. И весьма долговечный. Морозоустойчивый, так сказать.

Или такое. Председательствующий спросил отца в ходе разбирательства:

— Скажите, обвиняемый, вы действительно считаете, что Маяковский как поэт меньше Пушкина?

На что отец в недоумении отвечал:

— Так ведь это любому школьнику известно...

— Вот! — трагически простер руку в зал председатель. — И такое — о Маяковском!

Смешно! Опять-таки как когда. И — кому. Нынче про такое просто не верится. Анекдот какой-то, право. А тогда в зале никто даже улыбнуться не посмел. Или — не догадался. Потому что всерьез шутили граждане, не подозревая, что шутят. Сквозь кровавые, отнюдь не гоголевские слезы смеялись. Над врагами народа. Почитавшими дворянчика Пушкина превыше... кого бы вы думали!

Или вот еще... «Питер», — в дневнике писал вместо «Ленинград». Представляете, до чего докатился в своей антисоветчине? Игнорировал. И хотя дневничок этот злополучный велся отцом в конце двадцатых годов, когда многие по инерции и просто по привычке все еще называли Ленинград Петроградом и даже Петербургом, не говоря о разговорном «Питер», антисоветская подкладка дневника не тускнеет.

Или однажды на майской демонстрации отказался нести портрет одного из вождей (как назло, выпал все тот же Каганович, не потому ли и «покушение» шили?). И ведь отказался не из амбиции, а потому, что руки были заняты. Ребенком, сынишкой. Был я еще маленьким, пятилетним и, естественно, устал, притомился. Пришлось на руки меня брать. В охапку. А от портрета отказываться. И этим своим необдуманным поступком предавать дело, которому посвятил «всего себя» человек, изображенный на портрете. Смешно? Еще как. Особенно при наличии воображения.

Случилось, некто в камерной толчее подвинулся, на несколько сантиметров уплотнился, и в телесном сгустке образовался как бы пузырек воздуха, кро-

хотное местечко. Там отец и пристроился. И частично отдохнул. И с духом собрался.

Благодетелем, поделившимся жизненным пространством, оказался Яков Васильевич Круглов, интеллигентного обличья мужчина, пострадавший, смешно говорить (опять смешно!), за коллекционирование открыток. То есть — филокартист, или как их там различают по собирательским интересам. Не важно. Важно, что его обвинили в шпионаже. В пользу Аргентины. Собирая открытки, Круглов переписывался с некоторыми зарубежными коллекционерами, в том числе и с латиноамериканскими. Этого было достаточно, чтобы прослыть шпионом. В определенных, весьма влиятельных кругах.

Великое дело для новичка — найти в камере если не задушевного, то хотя бы благосклонного собеседника. Первого, изначального, единственного в двухсоткой толпе. Найти и начать общение. То есть — жить полноценно, мыслить вслух, а не по-звериному рыкать и озираясь. То есть как бы заново приступить к «жизненному процессу» существования. Умереть и воскреснуть. Без помощи врачей. Потому-то и запомнился Яков Васильевич Круглов, что поделился, отдал, а не взял. И не только пространством, но и расположением духа расщедрился. А там уж, когда человек не абсолютно одинок, возможно налаживание контактов и с другими соседями по несчастью. И вот, глядишь, ты уже и признан «массой», и как бы прописан в ее владениях, растворен в ее «компонентах», и на тебя уже не обращают излишнего внимания, принимая за своего, слитного.

Были, конечно, и там исключения из правил. Двое держались особняком. Один из них обладал знаменитой фамилией расстрелянного поэта.

«Знаете, кто это? — указал отцу Яков Васильевич на одного из независимых. — Сын поэта Гумилева».

— И ты с ним познакомился? — спросил я отца... по прошествии пятидесяти лет со времени его пребывания в пересыльной тюрьме.

— Пытался, но ничего не получилось. Эти двое — сын поэта и сын профессора медицины Дернова — сторонилось толпы. Не допускали к себе никого. Из чувства самосохранения? Никому не доверяли? Не знаю. Но мне показалось — не считали нужным. Может, я ошибаюсь, но в поведении молодых людей сквозила надменность таких римских мраморных мудрецов, место которым в Эрмитаже.

Отец не забыл и, я чувствую, не простил до сих пор иной, нежели у него, крестьянского сына, повадки держаться с людьми. Только и всего. Так мне подумалось вначале. А позже выяснилось, что я ошибался: простил, не мог не простить. Однако не забыл.

— Понимаю, что все это было смешно, несерьезно, наивно, — отец бесхитростно улыбнулся, — и то, как держались эти двое с себе подобными, и то, как воспринимал их поведение я, начитавшийся классиков, ратовавший за всеобщее милосердие и равенство (для меня, вчерашнего крестьянина, Достоевский — откровение, для них — в порядке вещей). Все мы тогда хлебнули горюшка — и гордые, и покладистые — одинаково. И я запоздало восхищаюсь камерной независимостью Гумилева, хотя бы частично внешней.

...Вскоре после ареста отца поместили в одиночную камеру, и не в камеру даже, где койка приставная и параша выносная, а в некий каменный мешок или «багажник», где можно было только сидеть скрючившись, но где можно-таки сосредоточиться и подумать о случившемся не суетясь, в какой-то мере

раскрепощенно и даже независимо, — никто, помимо надзирателя, не влезет в душу, не вломится с бесцеремонностью равного. И сразу перед отцом возник вопрос: «Почему я здесь очутился?!» И — ответ: «Потому что ушел от Христа». И строчки Блока воссияли в сознании: «В белом венчике из роз впереди — Иисус Христос!» Какой бы длительной и беспощадной ни была заварушка на улицах страны («Ой, пурга какая, Спасе!»), впереди — Свет, Надежда на исцеление. И на второй неизбежный вопрос — «Кто виноват?» — в памяти вспыхнул ответ вразумляющий и мобилизующий, и пришел он из дневниковой и «цитатной», в черной клеенке, тетради, где накапливались свои и «чужие» (гениев мира) мысли, той самой тетради, что послужила следователю «вещественным доказательством». Итак, ответ на вопрос: «Если ты, человек, сам не навредишь себе, не может навредить тебе ни друг, ни враг, ни сам диавол» (Иоанн Златоуст).

Первая ночь наедине с собой оказалась бессонной и в то же время милосердной: в эту ночь вызрело убеждение, что все «не зря», что испытания посланы ему во искупление вины его, заключавшейся в безмерной гордыне и одновременно в слабости духа. С осознанием вины пришло успокоение. А под утро — и сон. Но прежде — раскаяние...

Отец от радости просветления хотел было встать, распрямиться, но крепко приложился о камни «багажника» и малость поостыл в своих размышлениях. Однако именно с этих пор страдания тюремной и лагерной жизни сделались для отца более терпимыми, а сама жизнь — милосерднее и многозначимее. Пришло раскаяние.

Острее и неотвязнее прочих поступков колело ему сердце одно давнишнее происшествие, из кото-

рого, как ему думалось и чувствовалось, вышел он форменным подлецом. Случилось это лет за шесть или семь до ареста, в начале тридцатых. Через всю Россию — к северу и востоку — двигались тогда голодные лишенцы, сгоняемые с земель, опустошенных раскулачиванием. Шли они тогда и через Ленинград в надежде подкормиться. Магазины, универмаги, рынки, бульвары и скверы, парки культуры и отдыха были забиты этими пилигримами.

Однажды, возвращаясь с Васильевского острова, где отец преподавал в Образцовой школе, наткнулся он у Львиного мостика на канале Грибоедова, возле своего дома-утюга, на толпу женщин, что-то громко и яростно обсуждавших, кого-то за что-то срамивших и чуть ли не бивших кулаками. Как выяснилось, ругали прохожую, постороннюю женщину, худющую, с черным, словно обугленным, лицом, обезумевшую от страха и голода, тянувшую руку к свертку с ребенком, которого у нее отобрала толпа. Трясли ее и поносили за то, что она хотела бросить в канал своего ребеночка. Женщина стояла спиной к толпе, глядя в мутную воду канала, и казалось, все еще раздумывала, броситься ей с моста или нет. Ребенка ей в конце концов вернули, она привычно привязала его платком к себе, и теперь огромный сверток топорщился на тощем, изломанном боку женщины.

— Нет, вы полюбуйтеесь! — кричала из толпы самая горластая, пожилая уже тетка. — Утопить дитю надумала! Кровинушку свою, окаянная, не пожалела!

— Да мертвенький он... Холодненький, — оглянулась медленно женщина и так посмотрела на всех, в том числе и на отца, что на мосту сделалось тихо. А мост маленький, пешеходный. И все, как в одной лодочке, на его досках. И отец испугался этого взгля-

да, заспешил прочь. То есть — поплелся к себе домой, в свое, пусть ничтожных размеров, девятиметровое, убежище, где ждали его — семья и относительный покой.

— Никогда себе не прощал и... до последнего часа не прощу, — говорил мне отец спустя полвека после случившегося. — Надо было за руку взять и привести домой. Пусть тесно, пусть чужая, посторонняя, грязь, вши... Приютить! Дело было к ночи. Пусть бы переночевала. Отдохнула бы, чаю попили. А я вот... мимо прошел. Струсил. Смалодушничал.

Такая на сердце ноша. На всю жизнь. И что знаменательно: впервые осознание вины, как я уже говорил, пришло к нему в одиночной камере. Осознание вины и обретение опоры в грядущих испытаниях. Недаром древний девиз — «Через тернии к звездам» — для отца с тех пор не просто утешающая истина, но — возбудитель добродетели и радости сердечной. А неустанно сопутствующий совестливому человеку вопрос «кто виноват?» получил тогда в мировоззрении отца недвусмысленный ответ: «Я!» Совершенствуя себя, совершенствуем мир. Раз и навсегда.

После одиночки была камера на двоих. Отец обрадовался новому человеку. Жить в необитаемом пространстве он еще не умел. Хорошо рассуждать об интеллектуальном одиночестве, находясь в толпе. Жить наедине с собой, да еще взаперти, может не каждый. Хрупкая человеческая психика чаще всего деформируется от вынужденного безлюдья. Последствия такой деформации непредсказуемы, потому что индивидуальны.

И вот беда: человек, с которым теперь предстояло совместно обитать, был мрачен, то есть угнетен происходящим до крайней степени, общения сторо-

нился, бесед не поддерживал и, казалось, в отличие от моего отца, жаждал побыть наедине с собой.

К тому же человек этот, Безгрешнов Василий Михайлович, по роду своей деятельности (дотюремной, естественно) являлся представителем совершенно неизвестного, а значит, и малопонятного отцу круга людей, еще недавно облеченных властью и располагавших привилегиями. То есть — как бы и свой, российский мужик из крестьян или рабочих и одновременно — чужак, иностранец у себя дома, если вообще не инопланетянин.

По словам отца, «на воле» Безгрешнов был заместителем наркома путей сообщения Лазаря Кагановича, занимался электрификацией Мурманской железной дороги. Под следствием Безгрешнов находился уже целый год, «шили» ему контрреволюционный заговор, шпионаж и террор (убийство все того же Кагановича), то есть дело вели четко к расстрелу Василия Михайловича, но он оговаривать себя не спешил, обвинительного заключения ни в какую не подписывал. «Методы воздействия» к нему применяли самые разнообразные, то есть пытали с пристрастием, но Безгрешнов уперся. Как выяснилось в камере чуть позже, для Безгрешнова непризнание вины перед Родиной стало единственным способом продолжения жизни. Не «соломинкой», за которую хватаются в отчаянии, а как бы самым сердцебиением, о пользе которого не рассуждают, а ежели утрачивают, то вместе с жизнью.

Разбудил, расшевелил (если не воскресил!) Безгрешнова отец при помощи чтения книг, русской классики. В тюремной библиотеке Большого дома на Литейном имелась тогда хорошая, весьма «калорийная» духовная пища: «Война и мир», «Воскресение», «Преступление и наказание», «Братья Кара-

мазовы» и даже однотомник Гоголя с «Выбранными местами из переписки с друзьями». На чтение вслух отец, естественно, испросил у Безгрешнова разрешения. Тот невнятно буркнул в ответ, и отец приступил к «озвучиванию» толстовской эпопеи.

Бывший путеец с каждым днем становился внимательнее, за происходящими в романе событиями явно следил, и когда отец, утомленный чтением, пожаловался на свое слабое зрение, Безгрешнов согласился «поработать». Вначале смущаясь, скованно, а затем все раскрепощеннее, а местами даже с «выражением» продолжил чтение «Войны и мира».

Толстого сменил Достоевский. Прочитанное, а для отца-учителя в который раз перечитанное, по ходу чтения пытались осмыслить совместными усилиями. Отец подметил, что Безгрешнову было безразлично то, как написаны великие романы, его совершенно не волновала непохожесть нервного письма Достоевского на степенное письмо Толстого. Бывшего замнаркома интересовал итог: что своим сочинением хотел ему, впавшему в унижение и немилость коммунисту, сказать автор? И есть ли связь меж его, автора, гениальными размышлениями и той жизненной ситуацией, в которую угодил читатель Безгрешнов? И нельзя ли этому обескураженному, отчаявшемуся читателю извлечь для себя из прочитанного утешение? Или хотя бы поиметь вразумительное толкование свалившимся на него бедам?

Речь шла о Наполеоне, а значит, о гордыне; о прозрении и смирении князя Болконского, смертельно раненного на поле боя; о мудрости крестьянина Платона Каратаева, имевшего нравственные убеждения, которые помогали ему переносить тяготы плена; о повелевающих царях-императорах, по-

сылающих на смерть народы, о ничтожестве этих царей перед лицом высших начал.

— Как вас понимать? — настораживался время от времени Безгрешнов. — Речь идет о... боженке, что ли? Видите ли, я — член партии большевиков, а стало быть, неверующий. Ни в бога, ни в дьявола.

— А в свою партию? Разве не верите? Человек жив, покуда во что-нибудь верит. Хотя бы в... завтрашний день! В то, что он наступит.

— Если партия мне почему-то не верит... — начал было Безгрешнов, но в голосе его что-то надломилось, Василий Михайлович надолго замолчал.

Потом читали «Преступление и наказание». В перерыве опять рассуждали о гордыне и покаянии, о возмездии и милосердии.

— А я не совершал преступления, в котором меня обвиняют, — как бы случайно, между прочим пробормотал себе под нос Безгрешнов. — Не совершал, однако... наказан. Разве это по-божески? Это... это по-дьявольски!

На что отец согласно кивнул бывшему замнаркому, предложив то ли в шутку, то ли всерьез:

— Хотите, Василий Михайлович, обучу вас волшебному слову? Ни один следователь после этого не справится с вами. Не заставит подписать неправду. Ни один бес не боднет, копытом не лягнет.

— Подписать — значит получить «высшую меру». Я и так уже год держусь. Но силы не беспредельны...

— Потому-то я и хочу вам помочь.

— Вы что, серьезно?

— Повторяйте за мной: «Отче наш, иже еси на небесах... да святится имя Твое...»

Безгрешнов укоризненно рассматривал человека, читающего наизусть какую-то старушечью абракадабру, слышанную им в детстве и прочно забытую.

Затем, отвернувшись от отца, размеренно зашагал по камере — взад-вперед, туда-обратно.

— Хотите, растолкую вам смысл этой бессмертной «белиберды», которую повторяет половина человечества? И повторяет чаще в минуты скорби, смертного ужаса, реже — в состоянии радости, из неосознанной благодарности. И почти никогда — в остальное время, то есть — в серые будни повседневности.

Отец толковал, как мог, импровизировал, проникая в слова молитвы, просвещая не столько Безгрешнова, сколько себя, так как прежде почти не задумывался над торжественно-архаичным звучанием молитвы. Потом уже, по прошествии дней, они пели эту молитву на два голоса, и надзиратель предупреждал их неоднократно, грозя карцером и некоторыми другими неприятностями, которые могли возникнуть в тюремной обстановке. Но они продолжали читать и тихо петь, потому что знали: сама тюрьма и есть для них высшая неприятность и что бы к ней теперь ни добавили — тюрьма останется тюрьмой, как жизнь — жизнью, а смерть — смертью.

Через какое-то время Безгрешнова увели на очередной допрос к следователю. Пение бывшим замнаркома «реакционных словосочетаний» походило один к одному на сумасшествие, по крайней мере — на частичное помешательство, и, конечно же, не производило впечатления духовного преображения бывшего атеиста. Особливо — на молчаливых, ко всему привыкших надзирателей. Дескать, чего только не случается с хлипкими интеллигентами на нервной почве. Каких только фокусов не выкидывают, окаянные. Их и сажают-то наверняка потому, как неизвестно, что от них ждать. Самое страшное для государства — неожиданные люди.

А ведь и впрямь, согласитесь — фантастическое зрелище: заместитель Кагановича распевает «Отче наш»! Даже с высоты нынешних, покаянно-реформаторских времен — впечатляет. Но факт остается фактом, живым историческим оттенком постижения человечеством путей к Истине. Поступком одной не окаменевшей души, запечатленным в другой живой душе — в сознании моего отца.

Со слов самого Безгрешнова, однако не без участия собственного воображения, отец рисует тогдашнюю сцену в кабинете следователя как весьма знаменательную, подвижнической окраски.

Видимо, Безгрешнов вошел в кабинет с несколько иным, нежели всегда, выражением лица, что не укрылось от внимательного, из-под ладони взгляда хозяина кабинета.

— Что это с вами, Василий Михайлович? Никак... решились?! Ну и правильно. Стоило мучить друг друга столько времени. Присаживайтесь. Слушаю вас, Василий Михайлович. Такая улыбка у вас сегодня хорошая... Предвещающая. Что вы там шепчете? Говорите громче. Или вот бумага, перо — излагайте.

Неожиданно Безгрешнов поднялся со стула, и оказалось, что он высокий, осанистый — видный, одним словом. Дряблые складки на похудевшем, некогда полном, дородном его лице расправились. В движениях проснулась военная выправка бывшего комиссара полка.

— Дело в том, что я вас теперь не боюсь, — отчетливо произнес Безгрешнов.

— Не понимаю... — опешил чиновник.

— И вот еще что: я не из тех, кто часто меняет свои убеждения. И если уж проникло что... в сердце — колом не выбьешь!

— Никто и не собирается... колом. Что, собственно, произошло?

— А то, что я теперь знаю: моя жизнь, а стало быть, и смерть не от вас зависит! Не вы мне ее дали, не вам и распоряжаться ею!

В задачу автора этих «Записок» не входит подробное описание тюремно-лагерных мытарств отца или своих собственных, пусть не таких продолжительных и объемных, какими были они у родителя, но — также весьма впечатляющих. Придется обойтись без тщательного изображения всех этих нар, параш, вышек, попок, паек, этапов, бараков и прочих аксессуаров уголовного быта блатняжек или интеллектуальной атмосферы политкаторжан середины двадцатого века. Деталь хороша своей внезапностью, ненавязчивостью. Обобщения — ожидаемы. Долг русского литератора — еще раз напомнить миру, что народ мой, в сравнении с другими народами, принял в двадцатом веке страдания безмерные, безграничные, ни с чем не сравнимые, причем принял их снизу доверху, вширь и вглубь — начиная с кормящего страну крестьянина и кончая всеми остальными мыслящими, творящими, созидующими, терпеливо скорбящими и сдержанно ликующими слоями общества. Принял и устоял. Страдания воспитывают. Делают народ милосерднее и устойчивее. На лице государства начинает просматриваться улыбка. Вместо гримасы ожесточения. Улыбка надежды. Усталая и для стороннего взгляда загадочная.



АХ ВЫ, ГРУДИ!

На Садовой улице в магазине шляп
понял, что погибну я из-за этих баб!
Глазки их пригожие, в клеточку трусы.
Пропадаю пропадом из-за их красы!

Ах вы, груди, ах вы, груди,
носят женские вас люди, —
ведьмы носят, дурочки
и комиссар в тужурочке.

Там, где пес на кладбище гложет свою кость,
повстречал я женщину, пьяную насквозь.
Повстречал нечаянно, привожу в свой быт,
а она качается, а она — грубит!

Ах вы, груди, ах вы, груди,
носят женские вас люди, —
ведьмы носят, дурочки
и комиссар в тужурочке.

Взял я кралю на руки, выношу на двор.
А она беспочвенный заводит разговор.
Разлеглась, мурлыкая, на рыдван-тахте:
«Что ты, — говорит, — прикасаешься
к моей красоте?»

Ах вы, груди, ах вы, груди,
носят женские вас люди, —
ведьмы носят, дурочки
и комиссар в тужурочке.



НА ДИВАНЕ

Песенка бедных художников

М. Кулакову

На диване, на диване
мы лежим — художники.
У меня да и у Вани
протянулись ноженьки.

В животе снуют пельмени,
как шары бильярдные.
Дайте нам хоть рваных денег, —
будем благодарные.

Мы бутылочку по попе
стукнули б ладошкою.
Мы бы дрыгнули в галопе
протянутой ножкою.

Закадрили бы в кино мы
по красивой дамочке.
Мы лежим, малютки-гномы,
на диване в ямочке.

Уменьшаемся в размерах
от недоедания.
Жрут соседи-гулливеры
жирные питания.

На диване, на диване
тишина раздалася...
У меня да и у Вани
сердце оборвалось.





* * *

Все пою и пою,
как дурак тухломыслый.
Попаду ли в струю?
Или — заживо скисну?

Попаду, попаду!
Меня будут печатать.
Я еще накладу
свой большой отпечаток.





ПЕСЕНКА ПРО ПОСТОВОГО

У помещенья «Пиво-Воды»
стоял непьяный постовой.

Он вышел родом из народа,
как говорится, парень свой.

Ему хотелось очень выпить,
ему хотелось закусить.
Хотелось встретить лейтенанта
и глаз падлюке погасить.

Однажды ночью он сменился,
принес бутылку коньяку.
И возносился, возносился —
до потемнения в мозгу.

Деревня древняя Ольховка
ему приснилась в эту ночь:
сметана, яйца и морковка,
и председателева дочь.

...Потом он выпил на дежурстве,
он лейтенанта оттолкнул!
И снилось пиво, снились воды, —
как в этих водах он тонул.

У помещенья «Пиво-Воды»
лежал довольный человек.
Он вышел родом из народа,
но вышел и... упал на снег.



* * *

Уходят праздные друзья,
и начинается мой праздник.
Я, как степенная семья,
разогреваю чай на газе.
Я, как примерный семьянин,
ложусь на островок дивана...
Как хорошо, что я — один,
что чай желтеет из стакана,
что я опять увижу сны,
и в этих снах — такая радость,
что ни любовниц, ни жены,
ни даже счастья не надо.





ЛЕНИНГРАДСКАЯ ВЕНЕРИЧЕСКАЯ

Торговала ты водой
газированной.
Был жених твой молодой —
образованный.

Он закончил факультет
филологический.
Заболел болезнью
венерической.

Наградил тебя сполна
под завязочку,
чтоб носила на носу
ты повязочку.

Проклинала чтобы ты
жизню русскую,
говорила чтобы в нос —
по-французскому.

И сидишь ты на дому,
затворившись,
нос не кажешь, так как нос —
отвалившись.





ПРО СУЛТАНА

У султана было триста жен.
Был фонтан и голубой бассейн.
Только был он главного лишен —
не употреблял султан портвейн!
Жаль султана.
Звонкий автомат
не выбрасывал ему салат.
Жаль султана.
«Красная стрела»
не везла его и не везла.
В США не делал он визит,
где сидит Рокфеллер-паразит,
виски пьет, ест желтое желе...
А султан лежит в сырой земле!
У султана было триста жен.
Пили все из общего котла.
Но одна из них пила... крюшон,
потому как в партии была.





ВЕЧЕРИНКА

Вошла, внесла румянцы,
спросила: кто я есть?
Заваривались танцы,
шумел паркет, как жесть.
Играл я на гитаре —
дубасил по струне!
Дыхнула в ухо: «Парень,
сыграй наедине...»
Я в песню носом тыкался,
как в блюдце с молоком.
А ты, как недотыкомка,
стучала каблуком.
«Как звать меня?! Акакием».
Она в ответ: «Трепач!»
А я ей: «Прочь отскакивай —
как мяч, как мяч, как мяч!»





* * *

Стану я, как гриб морской, —
сморщенный и кисловатый.
Ты придешь ко мне с тоской
в платице, подбитом ватой.
У тебя ли нелады
с грозным мужем — злым и ужным.
Чистым спиртом без воды
мы его помянем дружно.
Тяжела ты, как земля,
не снести тебя, родная.
Глянь в окошко: вот — поля,
вот причесочка лесная...
Там — асфальт, а тут уют:
канделябры, «Антидюринг».
А за стенкой — водку пьют,
пьют, как будто перед бурей!





* * *

Мало толку в пейзажах,
зеленеющих скромно,
а значение, скажем,
труб фабричных — огромно.

Мало важного в небе,
в экс-лирических тучках:
квинтэссенция в хлебе,
в парт и профнахлобучках.

...Я лежу на лужайке —
на асфальте, в берете.
Рядом — вкусные гайки
лижут умные дети.

Я лежу конструктивный,
я лежу мозговитый,
не банальный, спортивный,
с черной оспой привитой.





* * *

Конкретно я любил Любашу,
абстрактно я любил Анюту.
Я иногда любимых спрашивал:
а с кем я спать сегодня буду?
Любаша скидывала кофточку,
ложилась плотно, как в могилу.
Анюта сбрасывала крылышки...
Анюты не существовало.





* * *

Когда я Ньюшу полюбил,
а полюбил ее не сразу,
я по утрам кагорец пил,
а не какую-то заразу.

Когда я Ньюшу целовал —
и в рот, и в око, и в сопатку,
я тот кагорец наливал
в себя, как в рюмочку-лампадку.

Как хорошо, что я затих,
так удивительно, что бьется,
что бьется сердце на двоих,
как это где-то там поется.





НА МОСКОВСКОМ ВОЗДУХЕ

Оттолкнуло ветром от вагона!
Одолжи мне, Боже, пять минут...
Человек скорбящий — вне закона:
рьяные растопчут, в пыль вомнут!

Поезд отправляется. Соколики,
до свиданья! Можно поднять?
В ресторане мраморные столики
не хотят нетрезвого кормить.

В подворотне наведу румянец —
водочкой шарахну по щеке!
Поезд, как паршивый иностранец,
на чужом лопочет языке...





* * *

Человек уснул в метро,
перебрав одеколону.
От него — его нутро
развезло, определенно.
Ночью выключили свет,
затворили вход и выход.
Кутал спящего, как плед,
продувной тоннельный вихорь.
И всю ночь ему, лучась,
отпускное снилось лето
и какая-то запчасть
от невыигранной «Победы».
И всю ночь, как фараон,
он лежал в своей могиле.
А над ним не спал закон,
оставаясь в прежней силе.





* * *

Риду Грачеву

А я живу в своем гробу,
табачный дым летит в трубу,
окурки по полу снуют,
соседи — счастье куют.

Их наковальня так звонка,
победоносна и груба,
что грусть струится, как мука,
из трещин моего гроба.

Мой гроб оклеен изнутри
газетой «Правда», — о, нора.
Держу всеобщее пари,
что смерть наступит до утра,

до наковальни, до борьбы,
до излияния в клозет...

Ласкает каменные лбы
поветрие дневных газет.





* * *

Окутали тело могилой.
На память оставили крест.
И черные сучья-стропила
дубы распростерли окрест.

А где-то в тумане России,
по-прежнему страшно спеша,
в ботинках на толстой резине
его пропадает душа...





ПРОСЬБА

Памяти Аллы Рулёвой

Когда я стану стар для песен
и для тебя... А это будет...
Когда виски покроет плесень,
а голос сделается нуден, —
тогда не нужно — в богадельню...
Свези меня, как в сказке, в лес.
То будет утро, будет ельник,
и что-то будет лить с небес.





В РЕСТОРАНЕ

Если можно, принесите сигарет!
Уберите эти крошки со стола.
А вот этот непочтительный брюнет, —
почему он нависает, как скала?

Вы решили, что я сник и одинок.
Вы сказали, что я гопник — не поэт.
Я разбавлю вам горчицею вино.
Если можно, принесите сигарет.

Я вас очень попрошу курить под стол.
А иначе... я вам что-нибудь спою.
Я сыграю вашей кепочкой в футбол.
Отойдите, я с утра не подаю.

На столе салат завял, как овдовел.
В лимонаде молча сдохли пузыри.
На эстраде человек заревел,
словно что-то вырвал с корнем изнутри!

Я встаю, слегка ощупав свой бюджет.
Уходи отсюда, Глебушка, дружок.
Если можно, принесите сигарет...
А брюнету мы запишем тот должок.





* * *

Это песня, птичка-песня
в горле мечется!
Над деревней бледный месяц
травкой лечится.

Это сосны, тянут сосны
шеи медные.
Надо мною воздух просто —
блажь рассветная.

Скоро утро вспыхнет мудро!
Сердцу некогда!
Спи, лахудра, — в сердце тундра.
Ехать некуда.

Ах, дорога, вниз полога, —
крах предчувствую...
Вот бы Бога, хоть немного,
хоть бы чуточку.





* * *

Божьих пташек непонятный лепет.
Клетка жизни. Семечки любви.
Нет, с небес, как овдовевший лебедь,
я не кинусь камнем — не зови...
До свиданья, старые калоши,
мне обидно, если вы — насквозь,
если вы, отяжелев под ношей,
иногда затопаете врозь.
Неизбежно звонкие долины
прорастут железною травой.
Пито всё, помимо гуталина:
от тоски и до воды живой.
Всё постыло, даже то, что мило.
До свиданья, рожицы страниц!
Не вино мне сердце истомило, —
лепет непонятный божьих птиц.





* * *

Лежу на дне коньячной речки.
То рыбы надо мной, то жабы.
То восхитительные речи
руководителей державы.

Я ощущаю толщу фальши,
хлебнув — утешного — истошно!
И посылаю всех подальше.
И засыпаю осторожно.





* * *

Е. Михнову-Войтенко

Мне пора на природу,
на деревья, на кочки,
на проточные воды,
дармовые цветочки!

Запрокинуться в травы
по-щелячи, по-птичи...
Нахлебался отравы,
подурнел я как личность.

Я залезу на елку,
пропою петушком
в молодецкой футболке,
с завитым гребешком!

От восторга потея,
вознесусь до небес...
Кто я, Господи? Где я?!
Неужели... воскрес?





* * *

На Колымском тракте — трактир.
Пьет проезжий преступный мир.
Пролетают с воплем машины,
тянут бешеный свой пунктир...
А в трактире преют плешины.
Вышла девушка на крыльцо —
кровью вымазано лицо.





В ОБЩЕЖИТИИ

Сосед приходит и садится на кровать,
и начинает сразу яростно зевать.
Четыре гаврика играют в домино.
«А за окном, — поют, — совсем уже темно!»
Два местных франта собираются на пляс.
Заочник Вася в математике погряз.
Приходит пьяненький, ложится на кровать
и начинает потихоньку завывать.
Один игрок сказал другому: «Эх ты, брат!»
Одели франты свой торжественный наряд.
Другой игрок сказал, подумав: «Эх ты, друг!»
И оторвал заочник голову от рук.
...В окне действительно становится темно.
Друзья все медленней играют в домино.
Приходит пьяненький, ныряет под кровать
и начинает тихо-мирно горевать.





БРИГАДА

Литого Сталина в шинели
пилили ночью, как бревно.
А утром, заспанные, ели,
не находили в жизни цели,
и... грохотало домино!





* * *

Какое страшное лицо!
Глаза ночные, без просвета,
а губы вылились свинцом...
Кому-то будет он отцом?
Чье тело будет им согрето?
Он молча пьет из кружки пиво.
И жметя очередь тоскливо.





В ПУТИ

Завихряются машины,
как железная струя.
Мы еще с тобою живы,
оболочечка моя!

Навались, душа, на посох.
Что там светит впереди?
В рай напрашиваться поздно.
В райсобес — не по пути.

Значит — в ад, точнее — в зелье,
в круг дрянных, зато — родных!
А отсюда и веселье,
что шокирует иных!





* * *

Отпусти меня, боль, отпусти.
Есть у пьяниц пароль: не грусти!
Не грусти, моя свет-красота,
ты всегда настоящая, та.
Ты прости мне проделки мои.
Отпусти меня жить в соловьи.
Буду тихо любить, как светить.
Подзаборной кончине — не быть.
Отпусти меня в обморок вьюг,
в сердце друга, как будто — на юг...
Отпустила вселенская боль:
окунулась душа в алкоголь.





* * *

«От Москвы
до самой до Камчатки...»

Пьет страна. Как туча — брашно!
Вечер. Всполохи беды.
Соловей поет так страшно.
Жутко так цветут цветы...

Сыплет в душу озорную
алкоголем, как дождем.
Продавец очередную
не отпустит — пропадем.

Жаждет душенька отравы,
а чего желает друг?
Из вулкана — стопку лавы?
Или — славы пышный пук?

На Камчатке все в порядке.
Рыба. Дождь. Дворец Пропойц.
Сам с собой играет в прятки
у ларька какой-то «поц».

Я пишу стихи рукою.
Посыпаю их мозгою.
Соловей молчит... А друг
зажевал цветком недуг.



* * *

Что такое — деревня?
Да еще — в Октябре?
Это зависть и ревность,
серый дождь на дворе,
это осень и плесень,
по колено в грязи...
Это пьяные песни
по усопшей Руси.
Что такое селенье,
где привыкли молчать?
Это скука и Ленин
на стене, как печать!
Сгнили русские баре,
где ты, белая кость?
Только русские бабы,
только грустный погост.
Нет ни Бога, ни псарни,
лишь старухи да пни.
Где вы, русские парни?!
В Ленинграде они.
За кабацкою дверью
позабыли давно,
кто такая — Лукерья,
что такое — гумно.



Пятилетний Глеб Горбовский (1935 г.) со своей мамой — Галиной Ивановной (Сухановой). Ее мать, бабушка поэта, Агния Андреевна Даныщикова-Суханова (1884—1925 гг.) была основоположницей детской литературы Коми, автором учебников для школ. Мать поэта всю жизнь проработала учительницей.

С сыном ее разлучила война.
Фото из архива Г. Горбовского.



МУЖИК НАД ВОЛГОЙ

Мужик в разорванной рубашке —
без Бога, в бражной маете...
Ни о марксизме, ни о Бахе,
ни об античной красоте —
не знал, не знает и... не хочет!
Он просто вышел на бугор.
Он просто вынес злые очи
на расхлестнувшийся простор...
И вот — стоит. А Волга тонет
в зеленогривых берегах...
(А может, знал бы о Ньютоне,
ходил бы в модных башмаках.)
Два кулака, как два кресала,
и, словно факел, голова...

Еще Россия не сказала
свои последние слова!





* * *

Переулки Перми — деревяшки,
как старушки глухие — дома...
Я кого-то ищу по бумажке,
а найти — не хватает ума.
На столбе беспризорный фонарик
огоньком папиросным в ночи.
Кто-то молча на сонной гитаре
запоздалую песню бренчит.
Впереди замаячили купно
этажи — ослепительный свет!
...Но кого я ищу неотступно,
все равно в этом городе нет.





ПИСЬМО ИЗ ЭКСПЕДИЦИИ

Нынче ночь сырая... Ночь, как яма.
Напишите мне письмишко, мама.
Не ходите, мама, нынче в гости —
напишите, в синий ящик бросьте.
Если адрес мой попал в корзину,
напишите просто: «Север, сыну».
Отчим сам пускай готовит ужин.
Напишите, мне ваш почерк нужен,
запах ваш от присланной бумаги.
...Первым снегом заметает лагерь,
наши две притихшие палатки...
Напишите, не играйте в прятки.
Сын у вас — бродяга, невидимка...
Но и вы — как прозрачная дымка.
Напишите, разгоните тучи.
Нам обоим сразу станет лучше.





* * *

Хочу увидеть короля.
Живого. В праздничном мундире.
Ведь где-то есть еще земля,
пускай — единственная в мире,
где стража стынет у крыльца,
где королевская охота,
принцессы, бледные с лица,
по гроб влюбленные в кого-то...
Ведь где-то есть!
...А может — нет?
Скорей всего — король задушен.
Дворец пошел под сельсовет
или по пьянке был разрушен.
Смекнула стража, что к чему,
ушла в пожарники... А девы —
так до сих пор и не пойму, —
принцессы глупенькие, где вы?





* * *

Разбудите меня через тысячу лет:
я, наверно, уже отдохну.
Я на завтрак нажарю медвежьих котлет,
постучу топором по бревну.
На веселые плечи подвешу рюкзак,
затопчу головешки костра.
Пролетит на свидание тощий гусак,
опрокинется дождь из ведра.
Бесноватые молнии будут слепить,
в чашу ринется заяц-беглец...
Я по-прежнему буду кого-то любить,
потому что любовь — молодец.
Потому что она через тысячу лет —
это та же гроза, это тот же рассвет!





* * *

Человек застрелился.
В плаще и в очках.
Он лежит у палатки на хвойной постели.

Переваривал пищу, стоял на ногах,
и никто не заметил, что он — на пределе.
Иногда улыбался куда-то туда —
в голубую, зовущую сторону юга.
Может, в той стороне, где дымят города,
разлюбила его, погубила подруга...

...Мы его положили в плаще в мерзлоту,
мы его пожалели, известно...

А потом навалили потолще плиту
и ушли торопливо на новое место.
И остались река, да гора, да луна.

Человеку нужна тишина...





СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ В ЯКУТИИ

Мы листаем старые газеты,
пожилые толстые журналы.
Имена, как будто пыль с планеты,
сдуло ветром времени... Финалы,
начинанья, юбилей владыки,
космонавт, заброшенный в иное...
Время — рельсы, имена, как стыки, —
через все округлое, земное.
Мы их курим, начинив махоркой, —
имена, и даты, и портреты.
...Как они посматривают зорко,
как лепечут нам свои запреты,
разрешенья, пламенные речи...
Да простится наш порыв ничтожный, —
новый день ложится нам на плечи,
за него нам более тревожно,
чем за вас... Над нами тьма густая,
до рассвета топать три недели.
Мы вас курим, мы вас не читаем,
мы идем к своей заветной цели.





* * *

Роскошь сытых обиталищ,
сундуки надежд и снов...
Я поэтам не товарищ,
я им — дядя Иванов.

Я хожу задами улиц,
я гоняю голубей.
На помойке в драном стуле
я сижу, как воробей.

И не думаю, не маюсь
в ночь с фонариком в душе.
Кто там голову ломает?
Все поломано уже.





* * *

Русским словом — по морде,
по болванке лица!
По земле еще бродит
шепоток подлеца.
Ржавой бритвой — не рифмой,
утюгом-матюгом!
О, цензурные рифы,
мне ваш скрежет знаком.
В этот тошный, кромешный
век-поток, век-итог
кто мне скажет: «Сердешный,
на-ка, выпей чуток».
Гирей, гирей по глазкам,
наизнанку кишку!
Потрошенная сказка,
навалясь на клюку,
как покойник из морга,
ковыляет в свой рай...
Сердце шепчет: все дорого...
Мозг: круши, вытворяй!





* * *

Лежит раздавленная кошка,
ее мне жалко, но... немножко.
Лежит кургузый пиджачок,
а в нем — душистый мужичок.
Сорвало с крыши лист железа.
Кулак не пукнет из обреза.
Ползут к себе, издалека,
две половинки червяка.
Попал автобус под трамвай,
грузин сказал печально: «Вай!»
Лежит расплющенная ложка,
лежит, растоптана, дорожка,
лежит заводик — хвост трубой!
И я хочу лежать с тобой.





* * *

Засыпает бабушка тревожно,
пошептав над судьбами внучат.
Тихо в мире... Но расслышать можно,
как в могилах мертвые кричат.

Заседают грозные министры,
по графину палочкой стучат.
А взрез им — посторонний признак,
гул подземный: мертвые кричат!

Ночью в парке грешные мужчины
выбирают разовых девчат
и порою... вздрогнут без причины!
Что за притча? Мертвые кричат.

В бункере секретный академик
грозных мыслей испускает чад;
в жажде славы, подбираясь к теме, —
обнаружил: мертвые кричат!

Так, концы связуя и начала,
понял я, что мир во зле зачат.
...Это наша совесть искричалась!
Мертвецы по-прежнему молчат.





* * *

Я иду по уснувшей Неве.
В голове у меня — чистота.
Намекает на близкий рассвет
на Исаакии вспышка креста.
Разъезжаются ноги на льду.
Я иду коридором Невы.
Кто-то съежился весь на мосту,
наподобие спящей совы.
Но чернее, чем всё, — полынья.
Я ее огибаю... пока.
В ней пульсирует кровью струя,
словно взрезана бритвой рука.
...Я иду по прекрасной Неве.
Рассветает в моей голове.
Одеваются мысли в слова.
И меня понимает Нева.





* * *

Не хочется нынче ни песен,
ни умных речей принимать,
а хочется встать под навесом
и стебли у ливня ломать.
Чтоб ветром в лицо заносило
огромные капли воды.
Чтоб ливнем тревогу гасило.
Чтоб рядом — промокшая — ты.
И чтобы — молчанье, молчанье!
Воды клокотанье и мчанье...
А мы — чтобы вовсе ни звука...
Иначе — разлука. Разлука!..





* * *

Прощается женщина с мужем.
Идет, как по небу, по лужам.
Трепещет пальто ее — тряпка,
и скверно ей, верно, и зябко.

Мужчина ж в пучине вагона
нарезал колбаски, батона,
налил половину стакана
и выпил с лицом истукана.

А женщина тащится к дому.
К немому, глухому, пустому...

А муж ее, скомкав салфетку,
спокойно глядит на соседку.





НА ДЕВЯТОМ ЭТАЖЕ

Высоко я живу. Высоко и вольно!
Надо мной — толчея измочаленных туч.
Я давно не спускался на пешее дно
со своих коммунально-подоблачных круч.
Иногда я курю. Невесомый дымок
улетает в окно как частица меня.
Иногда я на землю бросаю плевков,
предварительно голову набок склоня.
Оставаясь под крышей, я верю мечте,
что однажды я стану одною из птиц...
По какой-то незримой, но плавной черте
я мелькну, улетаю, при свете зарниц.





* * *

Веточки бронхов пухнут в зловонии.
Легкие нежно трепещут в агонии.
Вы меня здорово сказкой надули:
ложь! Ничего, кроме вкрадчивой пули.
Пуля вошла, осмотрелась сверляще...
В шестиугольный кутаюсь ящик.
Врете! Я жил бесподобно! Богато!
Небо в моих голубело палатах.
Пол мой сверкал непрохоженным снегом,
ложе дышало некошеной негой.
Но — задушили меня провода:
радио — теле — белиберда.
Перекусила мой стих, мою власть —
черная челюсть — газетная пасть!





Ноябрь 1955 года.
Молодой поэт, студент полиграфического техникума
Глеб Горбовский за месяц до первой публикации в газете
«Волховские огни» (18 декабря 1955 года).



* * *

Р. Р.

Ругать Россию модно —
дозволено в верхах!
...На сцену выйдет морда
и роется в грехах.
Тот стихотворец светский
сегодня кроет Русь,
кричит, что он — советский!
Не русский! Ну и... пусть.
Не всякий может — сыном
остаться в пляске дней.
За что же он — Россию?
За то, что дышит в ней?
Для нас Россия — это
как в сердце — жизни гул.
Кто из больших поэтов
хоть раз ее лягнул?
Державин, Пушкин, Тютчев?
Есенин или Блок?
Лишь — борзописцы сучьи,
что лают под шумок.
Они земли не делят
на гнезда... Шар, и — ша!
Но даже в брэнном теле
есть мясо — и душа,
седалище и очи,
слеза и пот... Не счесть.

И хочешь пль не хочешь,
но и Россия — есть!
Пусть — в обновенье, в ломке,
но Русь — как свет в заре!
И что ей те болонки,
что лают при дворе?!





* * *

Проходя по улице вечерней,
глубже я дышу и равномерней.
День меня нахлестывал делами.
Я звенел покорно удилами.
И летел — то рысью, то карьером —
под своим незримым офицером.
...А сейчас по улице прохладной
я иду, душистый и нарядный.
Вспыхивают в окнах абажуры,
пролетают голуби-амуры.
Очень плавно и неторопливо
я зайду в буфет и выпью пива.
А потом под круглыми часами
кто-то посигналит мне глазами.
Далее — по кругу, по порядку —
в раскладную лягу я кроватьку.
Ну, а утром — утром все сначала.
Лишь бы в сердце песенка звучала.





* * *

Юрию Шигашову

Всю ночь собака лаяла надсадно,
и мчались облака, облитые луной,
плыл аромат, кочующий из сада,
и образы клубились надо мной...
Вот тоненькая женщина в объятьях
дождливой улицы возникла...
Или вот —
над куполом, над городом распяты
сбежавшего распятого зовет!
То чья-то радость вспыхнет и погаснет,
то чье-то зло выходит из орбит.
Вдруг, словно ветер, налетает праздник
на человека, что устал и спит.
...Всю ночь собака лаяла и выла,
всю ночь душа видения ловила.
Всю ночь из умирающего сада
в окно текла душистая прохлада.





ДОМОЙ

До чего же дико
на пустом шоссе.
Дождик. В сердце тихо.
И поля — в овсе.
Где я жил до этих
морозящих дней?
Где я пил? В буфете.
И не с ним, а — с ней!
...Горбится автобус,
производит шум.
Надо только, чтобы
не сдавался ум.
Надо непременно
швелить мозгой.
А не то — коленом —
и под зад ногой!





* * *

Два бандита сидели смиренно в пивной
после темной и мокрой работы ночной.
Разгрызая зубами соленый сухарь,
чернобровый сказал убежденно: «Фонарь!»
Отхлебнув свое пиво, и мрачен, и зол,
белобрысый на это ответил: «Козел!»
А в пивной становилось заметно тесней.
Был один из семи нумерованных дней.
Неустанно скулила несчастная дверь.
И сказал чернобровый: «А ты ей — не верь!»
На столах заунывно звенело стекло.
Белой пеной, как снегом, столы замело.
И сказал белобрысый: «Уеду на юг!»
А в ответ чернобровый: «Уедешь — каюк!»
Выходя из пивной, озираясь на свет,
два бандита сказали друг другу: «Привет!»
Белобрысый, подумав, добавил: «Пока».
И безжалостно их повязала Че-Ка.





ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

Бездомная лошадь сдыхать не хотела:
копалась в помойках... Была не у дела.
Придет и молчит у крыльца магазина.
На морде отвиснет губа, как резина.
Накроет глаза ей туманом дремота...
Бывает, что пряник протянет ей кто-то.
Бывает и хуже: к понишкему носу
приставят горящую — вдруг! — папиросу.
...В рабочем поселке работали люди.
Они пребывали в заботах, в простуде.
Они задыхались в любви и печали —
и лошадь, как правило, не замечали.
Обычно в отхожем, помойном овраге
ее окружали худые собаки.
Вели себя мирно. От скуки не грызлись.
Совместно делили мгновения жизни.
И было смешно, и тревожно, и странно
увидеть, когда еще сыро и рано,
увидеть, как в сером тумане рассвета
куда-то тащилась компания эта...





* * *

Из-под ног ушла дорога,
невозможно жить без Бога.
Вместо храма — ввысь — слепая,
прет фабричная труба!
Мертвых душ апофеоз.
Гоголь, плачущий без слез.
Дождь идет. За облаками
звезды лязгают клыками.
Водка за сердце берет.
Люди ходят взад-вперед.
Бьются лбами друг о друга.
Летом дождь. Зимой вьюга.
Хлеб, любовь, могильный сад.
Ты не съешь — тебя съедят.
У кормила, как безумцы,
старички за власть грызутся.
У парадного подъезда —
что за шум? — борьба за место.
Даже солнца сник порыв.
Что оно? Атóмный взрыв.
Через, скажем, игрек лет
от него простынет след.
Так ли, этак, худо-плохо, —
невозможно жить без Бога.
Выбит зверь, редет лес.
Запах истины исчез.
Бренны радость и беда.
Скучно в мире, господи!



* * *

Смиренно, а не пламенно
рифмую с грустью — Русь.
Как за подолец маменькин,
я за нее держусь.
Гулял с душою выгнутой,
как хвост! — рычал, как зверь.
Но мать меня не выгнала
в январь — шинком — за дверь.
В глаза ее уставшие
смотрел, как пришлый князь,
на грусть ее
бесстрашную,
что вечною звалась.





* * *

Последняя за окнами пурга.
Ушло пальто в ломбардные бега.
Зато видна береза из окна.
Пришла весна. Зато ушла жена.
Записки не оставила. Права:
плохой имела почерк. Как сова.
Пришли друзья. Зато ушли рубли.
Последние... Как сладко на мелн.





* * *

Алеша, сбегай за любовью,
ступай, найди ее, сыщи!
Не повредит она здоровью,
как третьедневашние щи.

Алеша сбегал за любовью.
Она... в бутылочке жила.
И заряжала душу новью
под цвет зеленого стекла.

И вот уж я с насущным миром
все ближе... Как гора с горой!
Как будто задница с сортиром.
Алеша, сбегай за другой.





* * *

Разбавлю водку томатным соком
и пью несмело, украдко — боком,
косясь на двери огромной кухни...
В квартире дрыхнут. Никто не ухнет,
никто не влезет спросонья в душу.
...Я долго строил.
Теперь я рушу!
Я строил песни, шкафы и семьи.
Был уважаем... весьма не всеми.
Любил улыбки. Сам улыбался.
Все строил домик, а он ломался.
Вот говорят мне, что нездоров я.
А я-то знаю, что водка — с кровью,
а не томаты... Ох, не томаты!
Здесь помидоры не виноваты.





* * *

В час есенинский и синий
я повешусь на осине.
Не Иуда, не предатель,
не в Париже — в Ленинграде,
не в тайге, не в дебрях где-то —
под окном у Комитета...
...Что мне сделают за это?





ДИССИДЕНТЫ

Из шинели Гоголя вылезши,
призамерзнув и приустав,
мостовую глазами вылизав,
мы проходим, ушлыми став.
А начальнички — череп голенький —
от больших хрущевских идей
изрекают: ишь, алкоголики!
Выдают себя за людей!
...Очень грустно и очень больно
острый мозг носить на плечах.
«Алкоголики, алкоголики...»
Не один Есенин зачах.
Мы проходим Невским незримо,
задеваем плечами дома.
И мелькают девушки мимо,
от начальничков без ума.
Но карабкаюсь я упрямо —
злым стпшком по лысой странице!
Родила меня просто мама,
а могла бы родить — птица.





* * *

На карауле не стоял
у мавзолея... Но у склада,
где дядя мыло выдавал, —
стоял! И думал. Думать надо.

Какой ни есть, но все же пост.
Пускай за дверью спят портянки,
ушанки, ящик папирос,
пускай — ботинки, а не танки.

Сказали: стой! И вот стою.
И автомат щекочет спину.
Отца угробили в бою.
А что, скажите, делать сыну?





* * *

Речка в Витебске — Витьба.
Сесть на камень и выть бы!
Раньше в Витебске — хоровод церквей...
Город в грусть ушел до бровей.
Были храмы, и вот — увы...
Город Витебск старше Москвы.
Недавно взрывали двенадцатый век.
Кирпич как брызнет на белый снег!
Прораб веселый, как сатана.
Весь мир разрушит. И — тишина.





АРИФМЕТИК

— «Здравствуй. Я тебя не видел
восемнадцать лет».

Глянул я — чуть глаз не вытек:

— Ты ли это, — дед?!

— «Я-то я. Но скоро сорок
и тебе и мне».

Я ему: — «Послушай, Жора,
может, выпьем?»

— «Не!

Ни граммульки, ни полкапли
вот уж десять лет».

И протягивает грабли,
говоря: — «Привет».

Скоро сорок. Скоро двести.

Скоро — миллион!

А когда-то пели вместе
песни. Я и он.





* * *

Стуна радио толчет
хилые идейки.
В ухо песенка течет —
холоднее змейки.
Тит пропел, Федот поет.
Взялся Карп за дело.
...Песня уху отдает
собственное тело.
Уху, озеру, холму
хмурому — под ноги...
А затем — в лесную тьму
прогоняет соки.
А потом и соловьем
вечер весь потела!
Мы сегодня водку пьем, —
грудь заиндевила.
Нам с тоской — не по пути,
пьем, как волчья стая!
Может, к вечеру в груди
песенка оттает...





* * *

У человека голова и руки,
он производит формулы и звуки.
Он строит башни, протыкает небо.
А мне бы, граждане... приткнуться — где бы?

В пустом троллейбусе, как спичка в коробке,
сквозь ночь, как белая монетка в кулаке,
я пробираюсь в глубь своей мечты —
туда, где на диване зябнешь ты.





* * *

Мне говорят: пиши о Ленине,
пиши, дурак, и процветай!
Как будто я — иного племени,
не человек, а попугай.

Мне говорят: пиши о Родине, —
как будто можно... не о ней?
Ведь песня сердца — не пародия,
а чуть потоньше, понервней.

Мне говорят: пиши об истине,
о смысле жизни, о борьбе!
...А вы попробуйте, чтоб искренне,
хотя бы букву — о себе.





* * *

В человеке вспыхнула тревога:
из газет узнал, что нету — Бога!
Причесался. Вышел за ворота.
Глядь! — из-за угла хромает кто-то.
Поравнялись. Щелкнули зубами.
«Значит, нет Всевышнего над нами?»
Так они подумали — с испуга.
И слегка обидели друг друга.





* * *

На лихой тачанке
я не колесил,
не горел я в танке,
ромбы не носил,
не взлетал в ракете
утром, по росе...
Просто жил на свете,
мучился, как все.





ТЮРЕМНАЯ ДОРОЖКА

Из книги «Остывшие следы. Записки литератора»

Ловлю себя на желании поскорей разделаться в «Записках» со всем частным, автономным, для читателя малоинтересным, с неизбежными описаниями эпизодов детства и юности, принадлежащими только мне, разделаться, чтобы приступить к описанию событий и мыслеположений широкоохватных, всезначимых, населенных множеством сторонних личностей. Но разве уйдешь от своей судьбы? Пусть недолговечной, пусть для кого-то скучной, заунывной, однако — прожитой, а значит, и достаточно изученной, достоверной. Под определением «частная собственность» чаще всего подразумеваем мы собственность материальную, напроць забывая о собственности духовной. И что цена этим пмущественным категориям — разная. И что устанавливает цену общественная мораль того или иного государства. Отсюда чем нравственнее духовная закваска народа, тем выше на его идеологическом рынке цена за «фунт духа», в отличие от цены на материалистический «ситчик», от цены — на «материю». На фунт лиха. В заключение рассужденческого пассажа добавлю всем известное: чем ниже отметка общественной морали, чем бессердечнее срединные слои народонаселения, тем благоприятнее почва для возникновения всевозможной этнической бесовщины — благообразных тиранов, расточительных

мздоимцев и прочих «лжецов и убийц», исповедующих религию зла, делающих темнее, непроницаемое не только свет угнетенной любви или тьму ненависти, но и туманную мглу равнодушия.

Велико желание — оглянуться. В пространства отшумевшего времени. Тобой исчисленного, просчитанного ударами твоего сердца. Что-то постоянно мешает порвать, расстаться с картинами и ощущениями далекого прошлого, всплывающими в памяти по законам эмоциональной (не физической) физики, то есть вовсе не так, как, скажем, всплывают на третий день утопленники в озерах и реках. Всплывают картины, воскресают ощущения, и не отмахнешься от них, потому что причастен... А значит, опять-таки никакой внешней последовательности в изложении. Калейдоскоп. Лабиринт. Чередование частного «сектора» с общественным — как самая на данном этапе развития общества разумная система жизнеосвоения.

Сегодня всплыла колония... И разве отпихнешь? Багром целеустремленности? Если, как сказал Пушкин: «И утопленник стучится под окном и у ворот»?

Ступив на тюремную дорожку, нужно было немедля решать: кем тебе быть? А точнее — слыть? За кого себя выдавать в преступном мире? Выражаясь специфически: за кого «хлять»? Потому что не твое это дело — тюрьма. Не родственное. Вот если бы, как говорится, «такой уж уродился», бедолага, ну и ладно. Судьбу не объедешь. А тут всего лишь — угораздило, занесло. И принимается подленькое, компромиссное решение: с волками жить — по-волчьи выть. То есть опять-таки по Дарвину — Мальтусу, а не по Христу. Не самим собой остаться, а приспособиться, то есть обмануть. Обмануть прежде всего себя. И все из нежелания... страдать. Из трусости. Колония, в которую меня определили, была

наполовину воровская, наполовину «сучья», активистская. Итак, с одной стороны — ложный романтизм, с другой — официальный реализм. Не задумываясь над последствиями, я выбрал — первое.

Выдавая себя за представителя ущербного мира, можно было назваться кем угодно — «специальностей» хоть отбавляй: скажем, сойти за обыкновенного хулигана-«баклана», или за грабителя-одиночку — «стопорилу», или за мошенника, мастырщика хитроумных «бандеролей» и «кукол» с несуществующими дензнаками, что требовало определенных способностей, которых у меня, к счастью, не было; на худой конец — промышлять «сывкой», то есть быть пронырой, почти «кусошником», не брезговавшим на воле ничем, вплоть до попрошайничества и незамысловатого плутовства; или — «хапошником», вырывать добычу у зазевавшихся граждан и — давай Бог ноги. Кем быть в новой среде обитания? Лжеграбителем, лжефальшивомонетчиком или, самое последнее, лжеубийцей, лжемокрушником? Чтобы трепетали окрест и преклонялись...

Самой почетной профессией в этой среде была профессия вора. Необязательно слыть в колонии воров в законе, потому что вранье раскусят непременно, разоблачат рано или поздно, особенно вранье такого ранга: воры в законе — наперечет. Они — «идеологи», имена их передаются из уст в уста, авторитет их проникает сквозь тюремные стены и лагерные заборы, как радиоволны. Главное другое, а именно — чтобы за тобой тянулся шлейф воровской репутации, а кто ты — «щипач», то есть карманник, специализирующийся к тому же по «чердакам», то бишь — верхним карманам, или по «скулам» (карманам внутренним), или по «жопникам» (карманам задним), а может, ты «домушник-форточник» или

вокзальный «вертила углов» (чемоданов) — не столь это важно для репутации. Важнее было не выбрать роль, но органически ей соответствовать на людях, пристально наблюдающих за тобой всюду, особенно в первые, обживочные дни твоего обитания в колонии. Принюхиваются и присматриваются к тебе всюду: к твоим «ксивам» (документам) в канцелярии, в изоляторе, в «кандее», то есть в карцере, в бане на помывке, за игрой в карты, за употреблением шамовки, даже — во сне.

Утвердиться в «романтическом» о себе мнении местных ворюшек в какой-то мере помогли мне наколки, сделанные на руках и ногах еще в ремеслухе на уроках черчения, где выдавалась тушь, а игла всегда имелась в подкладке фуражечки, а также — некоторые сведения из блатной жизни, усвоенные за годы оккупации, поездных послевоенных скитаний, обучения в той же ремеслухе. Я уже знал, к примеру, что, когда впервые переступаешь порог камеры и урки бросают тебе под ноги полотенце, перешагивать через него ни в коем случае нельзя, и если ты вор — оботри об него ноги и отшвырни подальше и как можно небрежнее, а затем, когда в камере «толковище» затеется и местное ворье начнет «качать права», выясняя, кого из авторитетных ты знаешь по воле, — называть можно не только, скажем, известного в районе Короля или Креста, но и что-нибудь «от фонаря», лишь бы пообразнсий, позабористей и одновременно жизненней звучало — к примеру, Пузо, Компот, Гвоздь, Горло, Горох или Чеснок.

Словом, на время пребывания в колонии решено было хлять за вора. Кличка Горб пришла за мной с воли, из стен ремеслухи. Умыкнутое со склада училища хозяйственное мыло, а также пара кирзовых бахил, которые мне «пришили» по делу, отправляя

в колонию, давали право на воровскую аттестацию, и хоть судимости по малолетству не было — сто шестьдесят вторая, пункт «г», воровская статья просматривалась за моими отнюдь не ангельскими плечами, как крылышки, дающие право летать, а не пресмыкаться, находясь в зоне.

Привилегированное призвание необходимо было постоянно подтверждать делом, то есть — практикой воровства. Иначе решат, что ты «сывка», «фраер», а то и вовсе «сука», прикинувшаяся пацаном, воришкой, и когда тебя разоблачат, то могут порезать или поставить на кон, поиграть под твою судьбу в картишки.

Отчетливо помню, что руководила мною в принятии греховного решения не корысть, даже не романтика, не жажда приключений и воровской славы, не желание пожить за чужой счет, но прежде всего — страх очутиться в среде уголовников на положении ничтожества, раба, парии, ужасала перспектива жизни под нарами или — возле параша. И действовал я почти неосознанно, по негласной подсказке затравленного событиями ребячьего умишки, сердечного чувства, не умудренного опытом сострадания, милости. А ведь согласно идеальной морали нужно было смириться и терпеть, вежливо нести крест мученичества. А нарождающееся чувство собственного достоинства, ростки гордыни и все прочие «сопротивленческие гены» духа и организма диктовали волю бунта, звали, как говорится, на бой с обстоятельствами жизни. Что я и принял безоговорочно, потому что результаты принципа боя — конкретны, наглядны, осязаемы твоим сознанием и оболочкой, тогда как «принципы терпения» если и несут в себе победоносный «конечный результат», плоды его, мягко говоря, умозрительны, произрастают где-то в перспективе; упиться, насладиться ими в ближай-

шем будущем не предоставляется возможным. То есть — верх тогда во мне взяла теория выживаемости, а более глубинная теория совершенствования отступила еще глубже, в свои потаенные пределы, чтобы напомнить о себе гораздо позже, в зрелые годы моего «пребывания» на земле.

Теперь вкратце — о нескольких эпизодах моего «вынужденного» воровства. Но прежде напомню, что происходило сие грехопадение летом 1947 года, когда мне еще не исполнилось шестнадцати лет, и что воровать я пустился не как все нормальные преступники — до тюрьмы, до наказания за содеянное, а как раз — по взятии меня под стражу. То есть — возмездие ко мне пришло прежде, чем я осознанно совершил деяние, преследуемое по закону.

Сразу же после пересыльной тюрьмы для малолетних на улице Ткачей («Дом палачей»), где нам в мартовскую холодрыгу читали «Два капитана» В. Каверина и где заявить о себе как о воре было нельзя (в тюрьме воровать не принято, там, если что надо вору, он просто отбирает у «фраеров» или меняется), в общем вагоне пассажирского поезда, в котором нас этапировали вместе с обыкновенными, «мирными» гражданами, отведя под нашу преступную братию полвагона, один из моих сопутников, мрачноватый и, как мне тогда казалось, почти взрослый, намного старше меня парень, как выяснилось, наблюдавший за мной по заданию уркаганов с тюремной пересылки, начал исподволь подбивать меня «на дело». Нет, он не заставлял меня воровать в приказном порядке, однако тонкими намеками давал понять, что ждет подтверждения моему воровскому амплуа, обозначенному на кисти моей руки татуированным солнышком. Дескать, ну что же ты хвастал, или, как выражаются блатные, «хлестался», покажи давай на деле, на что ты способен, благо поле действия —

общий вагон, набитый фраерами под завязку, — вот он, под рукой, и не один, а целых двенадцать. А конвоирующие преступных малолеток воспитатель и два охранника будто бы сами не прочь поживиться добычей подопечных.

И я решил попробовать. Подгоняло сознание того, что жить мне отныне придется в колонии, что мнение обо мне складывается теперь и что если не докажу, не дерзну сейчас, именно в поезде, в дороге, то в колонии меня «расколют», а затем заключают, втопчут в грязь, а подаваться в активисты, в «суки» то есть, в оппозицию уркам, даже в голову не приходило. Сказывалось воспитание не комсомолом и школой, а всего лишь — улицей, моралью безотцовщины.

Решив попробовать, метнулся я под нижнюю полку, на которой тесно, один к одному, кильками в банке жались мои спутники, чьи ноги моментально закрыли меня от посторонних глаз. В те годы купейные отсеки общих вагонов не отгораживались наглухо друг от друга и под лавками запросто можно было проползти вдоль всего пульмана.

Кражу необходимо было совершить чисто формально, верней — ритуально. Потребность имелась в самом акте беззакония, а не в том, что он принесет в смысле материальной выгоды. Позднее, уже в колонии, с теми же ритуальными намерениями, пришлось, не раздумывая, совершить свой первый побег из помещения изолятора, который (побег) тут же шел тебе в «пацанский» (воровской) зачет. Не важно, что тебя тут же, возле забора отловили «попки»-охранники, важно, что по ту сторону забора отловили — за зоной. Побег прибавлял тебе пацанского авторитета. «Цветной» (блатной) обязан был совершить «отрыв». Сия энергичная функция входила в полномочия вора, в отличие от «полувцветных» и просто

«сук». Здесь же добавлю, что среди многочисленных слоев колониетского общества имелась небольшая группа ребят, полностью отверженных, как бы меченых, неприкасаемых, из чьих рук нельзя было ничего брать, из чьей посуды запрещалось питаться, чьих хабариков или чинариков не разрешалось докуривать — иначе сам сделаешься «лидером», как их во всеуслышание именовали «цветные» пацаны и те «полуцветные», то есть провинившиеся, бывшие воришки, находившиеся в настоящий момент в услужении у пацанов, на языке колонии — «шестерки».

И еще: самое удивительное, непонятное, странное — это всеобщее послушание в дороге, отсутствие в среде юных арестантиков хотя бы малейшей попытки совершить побег с поезда, или где-нибудь в людской вокзальной гуще, или на волжской пристани, на пароходе и т. д. Возможностей удрать, исчезнуть, слинять было у нас тогда хоть отбавляй. Однако никто даже не помышлял об этом. И прежде всего потому, что урки дали зарок охранникам, отвечающим за нашу доставку, пообещали проследить, чтобы был «полный ажур». И все это — в обмен на относительную свободу действий на время передвижения этапа, на возможность заниматься воровским промыслом. Охранникам сверх всего — еще и дармовая выпивка с закуской.

И вот я полез на брюхе по вагону за своим первым подвигом, причем с полным отсутствием какого-либо страха, тем паче — угрызений совести, с одной лишь мыслью: совершить, содейть, победить, встать над собой прежним, над окружающими меня «съявками», доказать уркам, что я не раб божий, но, как и они, божий бич, наказание господне на головы всевозможных скобарей и фраеров, которых необ-

ходимо беспощадно «доить», «щипать», «казачить».

- Интересно, что сегодня, когда я уже приобщился к складыванию стихов, то есть ведя разговор со своей совестью, позабыв о блатной «философии», как о дурном сне, невольно вспоминая о днях, проведенных в колонии, неизменно хватался я за уникальный эпизод биографии большого русского поэта-мыслителя Е. А. Баратынского, эпизод, случайно почерпнутый мной из дореволюционного жизнеописания поэта. Обучаясь в кадетском корпусе, юный Баратынский был обвинен в краже и отчислен из учебного заведения, так что затем угодил в солдаты, служил на Севере, в Карелии, словом, тоже страдал, причем не по политическим мотивам. Мне почему-то было приятно сознавать, что если уж великие оступались, причем — когда! — в просвещенный, «классический» девятнадцатый век, то уж мне, грешному, рожденному меж двух великих войн, нещадных миропотрясений, в эпоху разрух, междоусобиц, геноцида, концлагерей, массовых уничтожений, — сам рок велел соприкоснуться с кровью и грязью, порожденными насилием. Однако — не захлебнулся же в них! Хватило силенок всплыть наружу, к свету. А с чьей помощью — разберемся потом. В дни великих раздумий.

Находясь под вагонной лавкой, я наверняка не размышлял о губительных для себя последствиях нравственного характера. Меня волновали проблемы попроще, сугубо практического свойства, а именно: как выкрутиться, как не попасться, выйдя на охоту (охотятся ведь не только охотники, но и звери, травимые людьми).

Сейчас уже не помню, что я тогда украл. Какую-то сумку или кошелку, на дне которой лежал кусок

хозяйственного мыла или что-то в этом роде, — люди жили бедно. Запомнилось, что в этой почти порожней сумке обнаружился огромный самодельный нож с деревянной ручкой, «придуманый», скорей всего, из обломка крестьянской косы, нож-косарь. Наша братия моментально присвоила стальное «перышко», а сумку и все, что в ней имелось, тут же вернули хозяину, потому что в вагоне поднялся хай. Парень, который посылал меня «на дело», похвально отозвался о моей работе: «Толково!» Потому что, как выяснилось, сумку я вытащил из-под «нужного места» — из-под головы спящего мужика, то есть действовал квалифицированно. «С-под ног бы — ни в жисть! — констатировал урка. — Сразу бы рюхнулся фраер. С-под головы по сонникам — хоть чего увести можно. А с-под ног — замучаешься».

Дело было сделано, экзамен выдержан. На окружающих меня сверстников отныне посматривал я снисходительно, на воспитателя и охранников — дерзко, с вызовом. Но ощущение бездны, на чей край я тогда шагнул, не отпускало в подсознании, явственно холодило душу, и что-то более грозное и величественное, нежели бездна падения, не позволяло полностью забыться и ринуться, наплевав на все, понестись сломя голову в пропасть. Не страх, не разумный расчет, не «окружающая среда» повлияли, а вот именно нечто врожденное и неизжитое, эфемерное, но крепче дамасской стали, на чем свет держится-стоит — сие и помешало сгнуть.

Так что же оно такое, сие нечто, именуемое в дальнейшем — совесть? Какой такой генный механизм вырабатывает в человеке ее хромосомы и «остаточные признаки»? По чьей воле, с какой стати, во имя чего, наконец, бессмертное человечество, как бы низко ни падали отдельные его агнцы, а также пово-

дыри и наставники, — продолжает оставаться в союзе с Духом или со всем тем, что под этим прозрачным словом подразумевается? Ответ в самом человеке. Но зарыт он глубоко. И откопать его в наносных слоях сознания не есть ли наипервейшая заповедь самосовершенствования?

Второй «охотничий» подвиг совершил я тогда же, по дороге в колонию, как бы уже по инерции удачи. Произошло это на одной из саратовских пристаней, под открытым небом, среди скамеек небольшого речного дебаркадера, где томились пассажиры в ожидании своего рейса. Охранники отпустили нас «порыбачить», оговорив условие: если «погорим» — выкручиваемся сами, за кражу и за побег — отвечаем самостоятельно. Никола, так звали урку, опекавшего меня в совершенствовании воровского ремесла, неожиданно и абсолютно спокойно взял в руки чей-то посторонний чемодан, довольно объемистый и, как выяснилось позже, самодельный, изготовленный из фанеры, но главное, тяжелый и... чужой. Выйдя из узкого пространства меж скамеек, на которых спали и дремали сморенные весенним солнышком люди, Никола сунул в мою сторону чемодан, шепнув: «Да хватай же, падло...» То есть, выражаясь профессионально, дал мне «пропуль». Я принял чемодан и, зачарованно глядя, как Никола «отваливает» от меня в сторону соседней пристани, не чувствуя под собой ног, двинул в том же направлении. Страх парализовал во мне все, кроме движения. Я не смел даже оглянуться и сориентироваться. Был уверен, что все на меня смотрят с насмешкой и презрением, как на заглотившего крючок караса. Чемодан, казалось, вот-вот оторвется или взорвется и разнесет меня на куски. И... слава Богу.

Но — обошлось и на этот раз. Трясина, так ска-

зять, прогибалась, но — выдерживала. В зале ожидания пристани меня поджидал Никола, наблюдавший, нет ли за мной хвоста. Он выхватил у меня чемоданишко, и мы направились напрямиком в какую-то деревянную будку, стоявшую в углу зала и предназначавшуюся неизвестно для чего: на ее стенах не висело телефонного аппарата, не было в ее полу и «толчка», то есть туалетного отверстия, не продавались в ее недрах билеты или газированная вода. Короче — будка-пережиток, будка-атавизм. Поместились мы в этой будке запросто — вместе с чемоданом. В чемодане что-то глухо, невесело брякало, шарахаясь о фанерные стенки, как птица в клетке. На чемодане имелась петля с накладкой, в петлю продет незначительный висячий замок. Никола мигом отпер его, поддев чем-то металлическим. В чемодане опять-таки ничего существенного не было. То есть — имелось два точильных или мельничных камня-диска и еще что-то ничтожное, какая-то сухая палка или корешок. Как выяснилось — домашняя колбаса. Никола моментально вонзил в нее зубы и тут же взвыл от боли: колбаска оказалась железной! Или — тоже каменной. Как диски.

Мы даже не стали брать эту колбасу, не говоря о камушках. Захлопнули чемодан, а чемодан, в свою очередь, захлопнули в будке. Скрипучей дверью. И сделали это вовремя, так как по залу ожидания уже ходил потерпевший в поисках пропажи. То был невероятно тощий, морщинистый и весь какой-то изогнутый вдоль и поперек старик. Он не кричал, не суетился, не метался в отчаянии, он просто и деловито заглядывал во все углы и закоулки, покуда не сунулся в будку. Чемодан вынес оттуда спокойно, как из камеры хранения. На его измятых временем губах играла едва заметная улыбка — заурядная,

ожидаемая, тихая улыбка человека, которого ничем уже не удивишь, разве — малость позабавишь, в сотый раз подтвердишь догадку, что жизнь — штука хорошая, да вот беда — прошла, не воротишь.

Помнится, старика даже сделалось жалко. Что-то шевельнулось в груди. Не скажу, что именно посетило тогда оскаленную душу мою — раскаяние или разочарование, однако — посетило.

Третий и последний эпизод моей преступной деятельности, окончательно поколебавший веру в романтическую прелесть «воровского гуляния», произошел на железнодорожном вокзале города Саратова. Как сейчас вижу просторное, выложенное кафелем пространство зала, оконтуренное жесткими диванами, на которых сплошняком теснятся «граждане пассажиры», и мы, этаплируемые юные преступники, в том числе. В те годы народ, передвигаясь по стране, держал свои небогатые вещички строго возле себя, не спускал с них глаз, то и дело ощупывал, оглаживал мешки, котомки и деревянные, реже фибровые чемоданишки. Что-либо «увести» из-под такого надзора могли только настоящие профессионалы-фокусники, которых выпестовали полуголодное существование, вселенская нужда и разруха, подаренные миру гражданской и Великой Отечественной войнами.

Наверняка и теперь некоторые воруют. Чаще — у государства. И происходит это не от голодного головокружения, а словно бы по традиции беспринципности, с продолжением эстафеты вседозволенности, возникшей на заре нашей государственности в геенне огненной событий, когда было решено «весь мир насилья» разрушить до основания, и чуть позже, когда сшибали с вершин российского пейзажа не столько церковные кресты, сколько вековеч-

ные гуманистические постулаты: не убий, не укради, не прелюбосотвори, не пожелай... недозволенно, но — возлюби ближнего своего, как самого себя, и т. д. Не из крайней бедности сейчас воруют, а чаще — из зависти, и не только у нас, при социализме, но и там, где «загнивающее» изобилие, так что и явление это, именуемое воровством, не столько социальное, сколько психическое, из той же громоздкой копилки, где концентрируются пороки человечества, в отличие от куда более скромной копилки, суммирующей людскую благодетель.

Люди, сидевшие на составленных цепочкой вокзальных диванах, почему-то напрочь позабывали, что сидят-то они не столько на диванах, сколько на энном количестве ничем не заполненного, вытянутого кишкой воздушного пространства, ограниченного с четырех сторон, попеременно — кафельным полом, каменной стеной, деревянными досками сидений и частоколом собственных ног, маскирующих работающего вора, червем извивавшегося в поддвинутой «трубе» — с определенными намерениями.

На одну из «ходов» под диваны был запущен и я. Передвижение там осложнялось деревянными рейками-перекладинами, крепящими диванную конструкцию. И все-таки задание необходимо было выполнить, чтобы окончательно убедить Николу в моих намерениях и возможностях, утвердить за собой «авторитет» умельца. Мое внимание привлек темно-зеленый эмалированный бидон литра на три, плотно закрытый крышкой, из-под которой торчала белая тряпица, аппетитно пахнувшая... пчелиным медом! По бокам бидона болтались чьи-то несерьезные, в цыпках и царапинах, давно немытые невзрослые ноги в дырявых спортсменках, из которых сквозь

прорванную синюю парусину выглядывали маленькие розовые пальцы.

И тут среди ног, в их лохматой занавеси отметил я две странные, знакомые мне порточины расклеванных брючат с огромными вставными черносуконными клиньями, отличавшимися по цвету от остального полинявшего полотна штанин, в которые эти клинья были вставлены. «Николины шкарята! — осенило меня. — За них и спрячу бидон!» Неловко подвинув бидон в сторону Николиных штанов, что свисали с дивана в полутора метрах от хозяина «вкусного» бидона, я поспешил наружу из воровского тоннеля.

Примостившись затем на диване возле Николы, в ответ на его настырное, беспощадное: «Ну?!» — шепнул ему на ухо: «Бидон с медом увел!» — «Где бидон?» — «У тебя в ногах». Никола заинтересованно и предельно аккуратно пошарил под собой и, обнаружив ворованное, наградил меня теплым, пропахшим табаком словцом: «Молоток!»

И только тогда обратил я внимание на человека, обворованного мной. Это был мальчик лет десяти, белоголовый, худенький, в неярких веснушках, рассыпанных вокруг загибистой, седлообразной переносицы. Наверняка деревенский житель. В застиранной, неоднократно отремонтированной одежонке с чужого плеча. Он уже хватился бидона, обнаружил его исчезновение. Голубые глазенки были широко распахнуты в тихом ужасе. Я проследил за направлением взгляда паренька: глаза его следили за приближением мужчины в сером ватнике, серых кирзачах и такой же серой кепчонке с переломленным козырьком.

— Тя-я-тя-я... — плаксиво запел, обращаясь к приближающемуся мужику, парнишка, «пролопушивший» бидон с медом.

— Хр-р-е-ен ли тя-тя! — передразнил сына отец, который по одному только виду мальчика, по плачущей интонации голоса ребенка, на расстоянии понял, что стряслась беда, что, пока он ходил в ларек пиво пить, их обобрали, не устерег «гаденыш» товар. — Хре-ен ли тятя! Разинул варежку, а бидонто и увели! — и хватъ сынишку за ухо и ну — крутить! Парнишка только вякнул, однако кричать не стал, терпеливо сносил истязание. Слезы беззвучно вспыхивали на его щеках.

И тогда моя нога, непроизвольно нашарив под скамейкой бидон, вытолкнула, катнула его на свет божий, посудина с веселым песочным писком поехала, заскользила по отшлифованному подошвами кафелю — прямо к ногам ошалевшего мужика. Он тут же отпустил ухо мальчика, изрядно опешив, затем нашарил рукой проволочную дужку бидона и, склонив голову на грудь, с виноватым видом поплелся прочь из зала ожидания. Сынишка его, перестав плакать, поспешил за отцом, на ходу вытирая слезы рукавом рубахи. Я все ждал, что мальчик благодарно улыбнется. Однако — не улыбнулся. Оглядывался он еще не раз, пока добирался до дверей. А вот улыбнуться не смог. На заалевшем от слез и треволений лице ребенка не было ничего, кроме недоумения.

— Т-ты это чего, падла? — спросил меня Никола змеиным шепотом.

— Жалко малявку, — усмехнулся я как можно независимее и залихватски, сквозь зубы сплюнул на общественный кафель. — Мужик ему чуть ухо не оторвал, сука.

Сейчас, когда я пишу эти строки, то есть сорок лет спустя после истории с бидоном, за ночным окном моего садового домика — летнее ненастье: неделю уже льет дождь, шумят тяжелые сочные листья

июньских яблонь, а в двадцати метрах от окна, невидимая в белесой ночи, несет свои мутные, припухлые от дождей воды Западная Двина; по другую сторону садового участка, чуть выше, на береговом взгорке и тоже метрах в двадцати от моего окна, за кустами орешника, под вековыми могучими соснами — спит сельское кладбище. По радио сообщили, что где-то меж звезд нашей галактики летит американский космический аппарат «Пионер», запущенный в космос шестнадцать лет назад и до сих пор подающий сигналы. На нем имеется табличка с изображением людей планеты Земля — женщины и мужчины. По расчетам астрономов, станция будет двигаться еще около двух миллиардов лет.

Оглядываясь на свой путь, проделанный среди земных звезд и который, к счастью или сожалению, завершится куда как быстрее, нежели звездный путь «Пионера», я ловлю себя на мысли, что путь мой программировался не ради механического постижения пространства, это был путь очищения от скверны, которой снабжает нас доля земная, путь, который предлагает смертному грешная жизнь, словно и впрямь готовя его к духовному бессмертию.

Вся жизнь моя прошла в труде высвобождения от многочисленных пороков. Познать радость очищения — вот благо, выше которого не поднимается даже радость творческая, имеющая «прямой провод» к первородному человеческому изъяну — гордыне, очиститься от коей главное и, чаще всего, последнее желание каждой серьезной мыслящей личности.

Соблазн воровства не прижился во мне. И отрицать его помогли не разум, не трезвые размышления, а способность сопереживать «потерпевшему», то есть качества, с профессией вора не совместимые.

А началась воровская практика еще в годы вой-

ны, оккупации, когда взрослые, можно сказать, подбивали ребятишек на воровство у немцев, оговаривая такой способ добычи чужой собственности чуть ли не как подвиг. Украсть у врага значило нанести ему урон, поколебать его устои. А то, что война рано или поздно окончится, что юному добытчику придется жить в условиях мирной морали, в расчет не бралось. Война, дескать, все спишет. Такая, с позволения сказать, мудрость о списании грехов пронизала в военное время все общественные слои сражающегося народонаселения, погубив в нравственном отношении — на корню! — тысячи и тысячи неокрепших душ. Никто у нас об этом отчетливо, вслух до сих пор не говорил, но это не означает, что разлагающего влияния войны на советских людей не оказывалось. Война — это не только подвиги, но и падения. Даже в среде защитников Отечества. Даже в среде героев, не изменивших долгу, но изменивших, скажем, жене, дружбе, пинавших ногой собаку, забывавших ради очередного ордена о ведомом... Скажут: что ж, война — это жизнь. Нет, не жизнь, а ее уродливая, искаженная модель. Жизнь-инвалид. Порождение сил зла. То есть — дьявольское порождение, как сказали бы во времена Отечественной войны 1812 года.

Итак, воровство, слава Богу, не прилипло. Не числится за мной ни одного убийства (человека или зверя, собаки или кошки на совести — ни одной). Вот разве что птицу по глупости пристрелил. В тайге, в экспедиции. Птицу кукшу. Бесполезную в смысле употребления в пищу. Не являющуюся охотничьей дичью. Дали поддержать винтовку-малокалиберку, ну и взыграло... Военных времен закваска оказалась, убойная магия оружия побудила к баловству. Но сразу и опомнился. Держа за распятые крылыш-

ки подстреленную кукшу, дал клятву не брать в руки оружия, по крайней мере — добровольно. Ну и... рыбок в свое время не щадил. И насекомых. А теперь, убивая муху или комара, если и не прошу у природы прощения, то, во всяком случае, вспоминаю, что и они — живые, а значит — чудесные. Итак, душегубцем не был, а ранения — вольные и невольные — наносил. И чаще — людям. И глубже — родным, близким.

Хорошо бы исчислить все свои пороки и слабости, сделать им, так сказать, инвентаризацию, пронумеровать, наклеить на них ярлыки и бирки, выставить на обозрение в музее Морали и Нрава.

Врал, обманывал? Да. В основном по молодости. И по пьянке. Врал, однако, не часто и — по мелочам. И чаще не врал, а молчал «до упора», не признавался, хоть калеными клещами тащи признание. Это — в детстве. С годами, с чтением великих книг, с принятием опыта «любви и страданий» отпала и эта гнусная заботушка — врать людям. Что же касается личной стороны дела, а именно — не врать себе, то здесь, видимо, еще не все так идеально, потому что внутри себя отделить действительное от желаемого куда сложнее.

Кстати, о пьянстве. Было? Было. Еще как. До белой горячки. Удалось преодолеть? Похоже, что так. Восемнадцать лет не приемлю спиртного. Ни водки, ни вина. Ни пива. Двадцать лет не курю. Что еще? Лениость духа? Которую надлежало вытравлять из себя каждодневным трудом при помощи письменного стола, бумаги, машинки и прочих письменных принадлежностей. Там же, возле стола, высвободиться и от лениости телесной. Что дальше? Скупость, зависть, блуд, непочтение родителей? Деликатно про-

молчать? Ведь если скажу, что избавился от этих пороков или не имел их никогда, кто поверит?

Странно, в общественных пороках копошись сколько угодно, особенно теперь, с включением «сверху» кнопки гласности, а в частных, личных, своих, то есть уникальных грешках — не принято, не этично, а стало быть — и необязательно. И это — несмотря на вековечный нравственный закон: начинать нужно с себя — очищаться, каяться, совершенствоваться.

Итак, из необузданных, непокоренных слабостей отмечу в себе затухающую, однако все еще вспыхивающую гневливость, беспомощную и оттого еще более омерзительную; затем — страх, впитанный с молоком матери в страшные, зловещие тридцатые, поначалу голодные, позже — доносные, шепотливые, далее предвоенные, с затемнением света в финскую кампанию, с синим светом электролампочек в подворотнях, страх военного произвола и послевоенной неприкаянности, страх тюрьмы, одиночества, отчаяния, пронизавший дух и плоть, мозг и кровь, страх не перед стихийными бедствиями, не первобытно-языческий, но страх цивилизованный — перед вероломством собрата-человека, страх — убийца добра в сердце. Что еще? Нет... Пожалуй, и впрямь ни к чему продолжать. Страх смерти? Имеется. Хотя и постепенно испаряется. Боязнь... любви. Да, да. С годами приходит и такое. Хочется, чтобы тебя поменьше любили, чтобы полегче было расставаться с «дорогими, хорошими», как сказал Есенин.

Дважды в этой главе пытался уйти, отклониться от темы колонии, лагеря, уголовного мрака, но вот же — всплывают новые подробности, без которых не обойтись, и я возвращаюсь «за проволоку».

Местечко или городок, на окраине которого располагалась наша колония, назывался в высшей степени внушительно — Маркс. Где-то чуть выше или ниже (забылось уже) по течению Волги находился и городок Энгельс, впоследствии получивший промышленное развитие (знаменитые троллейбусы). А Маркс захирел. Во всяком случае, на протяжении последних сорока лет ничего определенного об этом городке я не слышал — ни по радио, ни по телевидению, ни из печати.

Когда-то, еще до войны, в Поволжье жили советские немцы. Отсюда и названия городков, именовавшихся прежде как-то иначе. Можно справиться в энциклопедии. Почему-то хорошо запомнилось немецкое кладбище в городе Марксе. На фоне глинобитных чахлах построек и такой же тусклой растительности кладбище выделялось своими чуть ли не драгоценными камнями надгробий: прежде подобные разноликие шлифованные граниты, шпаты-агаты и мраморы с бронзой доводилось мне наблюдать разве что на немецком императорских времен кладбище Васильевского острова, то есть — на столичных невских берегах, а не в порожних, тоскливых степях Заволжья. Еще запомнилось, что рядом с нашей колонией, забор в забор, простиралась зона лагеря для немецких военнопленных. Удивляло, что среди немцев было много расконвоированных солдат, которые преспокойно разгуливали по городу, тогда как мы, русская и прочая советская пацанва, подсматривали за ними в заборные щели, а если и передвигались иногда по марксовским улочкам, то непременно — под конвоем, с охранником.

Подробно распространяться о своем пребывании в колонии не стану: когда-то в повести «Первые проталыны» я уже касался этой темы. А сейчас — только о самом «горячем», о том, что больше прочего

обожгло, о тогдашних ощущениях и нынешних осмыслениях.

Восприятие зоны, загородки, забора (который пацаны почему-то называли «баркасом»), с приданной ему разрыхленной граблями контрольной полосой, с вышками, где торчали «попки» с винтовками, то есть восприятие неволи не происходило у меня столь болезненно, как, скажем, у подростков, не знавших немецкой оккупации. На все эти охранительные, заградительные аксессуары насилия я уже вдоволь к тому времени насмотрелся за четыре года войны.

Еще летом сорок первого в военном городке под Порховом немцы организовали огромный лагерь для наших пленных, и мы, ребяташки, ходили туда отыскивать близких или соседей, носили кто что мог из еды и лекарств, помогали некоторым из пленных бежать. Немцы тогда еще не зверствовали запланированно, все зависело от нрава и характера охранника, возле которого ты терся, стараясь проникнуть на территорию лагеря. Чуть позже многое изменилось: в городке и вокруг него стали происходить диверсии, возле Порхова стали создаваться боевые партизанские отряды, немцев принялись убивать. Пленных огородили еще одним рядом колючей проволоки и не только не стали к ним пускать, но и подпускать близко: можно было нарваться на выстрел с вышки, который производился как упреждающий.

Затем, когда в Порхове патриот-одиночка, работавший киномехаником в городском кинотеатре, подорвал во время сеанса для офицеров и медперсонала здание театра, где погибло более двухсот человек, в Порхове арестовали все взрослое мужское население, распределив его по трудовым лагерям и тюрьмам, а тех, кого подозревали или кто не понравился военной администрации, незамедлительно от-

сылали на тот свет. Мне тогда двенадцати лет еще не было, а в лагерь хватали с пятнадцати. Взяли родственников — моего пожилого дядю и его сына, моего двоюродного брата. И я каждую неделю ходил из Порхова на станцию Дно — двадцать пять километров туда и столько же обратно, — носил передачи: десяток морковин, луковицу, пару овсяных лепешек, обмылок немецкого эрзац-мыла, выбранного мной на немецкой госпитальной помойке. Естественно, что в лагерь «посторонних» не пускали. Обычно я караулил колонну лагерников, когда они возвращались в зону со своих котлованов, карьеров и насыпей, незаметным образом вручал свой узелок родственникам, подававшим мне знак. А однажды случилось «благоприятствие», я затесался в их толпу и таким макаром проник в лагерь и некоторое время пожил там на правах заключенного — возле двоюродного брата. Обнаружили меня, то есть лишний рот в лагере, на другой день. Продержали в конторе и даже в камере лагерной гауптвахты. Потом, выяснив, кто и что, поддали под зад коленкой. Немцы народ пунктуальный: раз нет на человека документов — значит, иди вон.

Немцев в Порхове хоронили на местном стадионе. После войны, через много десятков лет, поздней осенью, когда выпадал первый снег, на равнинном поле стадиона можно было видеть как бы «стиральную доску» — волнообразный профиль от бывших захоронений, которые хоть и сровняло неумолимое время, но не до основания.

Вспоминая тот памятный порховский «киновзрыв», не могу не добавить, что помещался театр в единственном «высотном» четырехэтажном краснокирпичном здании бывшего горисполкома, возведенном в 1913 году столь надежно, что стены его выдержали страшный взрыв и последующие бомбежки

и артобстрелы, и, когда лет через тридцать после войны я приезжал в Порхов погрузиться о прошедших днях жизни, здание сие все еще торчало на берегу Шелони, напоминая мне и всем нам, кто пережил в Порхове войну, о смертном ее дыхании, о невозвратных тревогах моего детства, не знавшего понятия скуки.

И все ж таки «закрытый», подконвойный, арестантский образ жизни я ощутил именно тогда, в войну. Да и что они сами по себе — годы войны — как не подневольная, лагерная жизнь, только вот зона пошире — от западных границ до берегов Волги и Невы, от Балтийского моря до Черного. Туда нельзя, сюда нельзя, «стой, стрелять буду!». Саботаж, пособничество. За нарушение — пуля. Взрослые — при оружии, воюют, пайку получают, а ты, представитель мирного населения, как хочешь, так и выкручивайся. Окончится война, загремят победные салюты, воевавшие вчера люди найдут себе место в жизни, а для тебя подыщут спецграфу в анкете: был ли ты или нет на территории, временно оккупированной немцами, — самой постановкой вопроса уже как бы обвиняя тебя в чем-то. А в чем? Крыльев-то не имелось, чтобы подняться и перелететь куда-нибудь за Урал или в Ташкент — город хлебный. Не отросли еще крылышки к тому времени — это у детей, а у стариков — уже как бы отпали, отсохли в тоске и немочи, а не «в борьбе и тревоге».

Одним словом, по окончании войны, то есть при собственной советской власти, у себя дома, оказался я, как ни странно, в заключении.

Что значит — воспитательно-трудовая, закрытого типа колония для несовершеннолетних образца 1947 года? Прежде всего — сообщество людей, но — весьма странное сообщество. Помимо активистов и тех, кто в «законе», — всевозможные «полуцвет-

ные», «съявки», «шестерки»... то есть дилетанты в воровском деле. Были еще «придурки-мены», нечто вроде блаженных, затем — вовсе отверженные, «пидеры», изнасилованные ворьем в наказание за что-либо самым скотским образом. До этих парий нельзя было даже пальцем дотрагиваться. Питались они за особым столом, ели из своей, меченой посуды, которую держали при себе, сами ее мыли. Хлебная пайка этих несчастных чаще всего не доходила до их стола, ее заворачивали на воровской стол. Но уж если она дошла, коснулась поганого места — брать ее никто не мог под страхом самому сделаться пидером. Иногда изголодавшийся прямо на раздаче бросался на поднос с хлебом, и все, что он «помечал», доставалось в тот день «сукам». Били меченых только палками или плетками, то есть — на расстоянии вытянутой руки, без непосредственного контакта тела о тело.

Главным занятием на воровской половине колонии была игра в карты. Карты мастерили («мастырили») сами пацаны. Замастырить стос — такая работа возникала чуть ли не каждый день, ибо самодельные картишки быстро изнашивались. Делались «колотушки» из любой оберточной, обойной, даже газетной, в несколько слоев бумаги.

Основным, можно сказать, единственным инструментом в деле является нож (на пацанском языке — «пика», перо, «месар» — от немецкого «мессер») — остро, до бритвенной «жалости» отточенный обломок полотна лучковой пилы или рашпиля, стамески. Ножом бумага нарезалась на определенное количество заготовок, причем, если бумага оказывалась слишком тонкой, число заготовок «двоили» или «троили». Ножом вырезали трафаретки — ромбики, сердечки, крестики. Затем склеивали половинки. Каждая карта была двух- или трехслой-

ной. Это придавало ей эластичность. Для склеивания изготовлялся самодельный клейстер. В ход шла хлебная пайка, которой у ворья всегда был излишек, запас, наигранный в карты и хранившийся под матрасом или подушкой. Из пайки брался только мякиш, кем-либо тщательно разжеванный до полужидкого состояния. Затем месиво протирали на простынке. Чаще всего совершал сию процедуру тот, кто жевал. Четверо держали простынку в натянутом виде, втиратель выливал на нее кашу изо рта и начинал тыльной стороной ладони втирание. Через определенное время простынку переворачивали и ложкой соскребали с ее испода готовый клейстер. Клейстер наносили на половинки карт, обжимали и прессовали, далее заготовки поступали в сушку. Сушили при температуре около тридцати семи градусов, то есть — натуральным способом: часть пацанов ложилась плашмя вверх животом на коврики, задирали на животах рубахи, на животы раскладывались сырые заготовки и вновь накрывались рубахами. Хорошо, когда в колонии кто-нибудь из своих как следует температурил, тогда его, как горчичникам, обкладывали заготовками, скорость сушки повышалась.

Сухой стос, издающий при сгибании характерный треск, обрезали, предварительно спрессовав и накрепко обмотав веревкой — сперва вдоль, затем поперек колоды. Обрезали по линейке. Затем стос, или, как его еще называли, «бой», парафинили. Для этого плавил огарки свечей в гуталинной баночке и в горячий раствор окунали обрезанные, ошлифованные на камне края колоды. Далее — печатали масть. На краску шли соскребы с бордюра под потолком на стене комнаты, печная сажа или резиновая, с горячей подметки копать, ложившаяся на подставленное к кипящей резине стекло. Иногда для придания символической яркости и прочности,

для везения-фарта в красный цвет добавляли собственную кровь. Для этого слегка «полоскали» бритвой руку меж большим и указательным пальцами и сцезивали в баночку кровь, по нескольку капель — у всех по кругу. Ритуал. Игра. Краску разводили на том же клейстере. Получалось довольно прочно и отчетливо. А если еще к тому же трафаретка удачная, художественная, вырезанная со вкусом, а то и замысловато — тогда и вовсе шикарно выглядело.

Играли в основном «под интерес». Главным образом — под хлебную пайку. Хлеб в колонии — валюта. И вообще — нечто мистически-верховенствующее. (Помню одного белобрисенького, лет десяти на вид мальчика, «придурка-мена», то есть юродивого, который непрерывно, на ходьбе по территории в зоне и на сидении в корпусе на койке, повторял, как заведенный, одну и ту же фразу изо дня в день: «Ешь хлеб, не буду есть! Ешь хлеб, не буду есть!»)

Воры в законе играть на свою личную пайку, «кровняшку», права не имели. Запрещалось законом клана. Урка, проигравший в горячке азарта «кровняшку», по решению «толковища» мог быть объявлен «сукой».

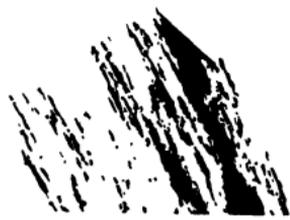
В игре ходили, а говоря современным языком — были задействованы пайки многочисленных должников, данщиков, слабосильных и слабодушных «фитилей». У среднего вора всегда имелся под рукой целый список имен и кличек должников и «отмазчиков», на чьи пайки мог он преспокойно рассчитывать, сядя за «подушку» (играли, то есть кидали карты не на стол или скамью, а на подушку — для удобства поддевания пальцем карты, для скорости игры). По этой части имелись свои виртуозы, за ними ходила репутация «исполнителя». Играть

старались честно. Однако некоторые из воров «мухлевали», играли на лишнях картах, пряча их, как фокусники, в рукава одежды, и при малейшем подозрении били напарника по игре в лоб, в момент удара карта из рукава вылетала за спину ударенного, и поди тогда докажи «мухлевку». «Исполнители» пользовались уважением. Им даже охотнее давали «на отмазку» свои пайки. В случае выигрыша взятая на отмазку пайка возвращалась, но далеко не всегда. В благодушном состоянии урка мог шикануть, крикнув голодному данщику-должнику: «Скащаю!» То есть возвращал ему право на одну пайку. Возле воров всегда толпились «кусошники», попрошайки на подхвате, потому что вечером во время игры хорошим тоном было, сняв очередной куш, бросать хапошникам выковыренный из горбушки мякиш, а хрустящими корочками урка пользовался сам, ибо корочки почитались за лакомство.

Играли урки, как я уже говорил, не только на хлебную пайку, но и подо что угодно; под сахарок, жареную рыбу, которой обеспечивала колонию близлежащая Волга, играли на капли из медпункта, пахнувшие спиртом (проигравший обязан был стянуть их оттуда не позднее завтрашнего утра); играли под имущество «вольняшек», то есть вольнонаемных, работавших в колонии; играли на побег, когда проигравший обязан был перемахнуть через забор. Совершившего побег тут же под холостой выстрел «попки» (стрелять в малолеток не разрешалось) отлавливали и учили, как могли, водворяли в «кандей» — карцер. Играли на «велосипед»: проигравший мастырил какому-нибудь спящему, на кого выигравший укажет, «велосипед» — промеж пальцев ног спящего («сонника») вставлялась и поджигалась бумажка, спящий, которого начинал кусать огонь, выделял ногами движения, напоминавшие

движения велосипедиста; играли на удар спящего человека каблуком ботинка по лбу, на облив уснувшего водой из ведра... Играли и на порез ножом активиста, на «сажание на пику», играли и под убийство. Но — крайне редко.

Ясное дело: подобные воспоминания не греют. Эстетического удовольствия не доставляют. Читать их необязательно. Но разве я вправе забыть о пережитом? Забыть о страданиях не только своей, но и чьей-то еще, более печальной участи? Загубленной юности? Забыть о происходящем в подобных заведениях и поныне? Да, да, смею не только предполагать, но и уверять: изменилась лагерная терминология, «феня», увеличилась пайка, усовершенствовалась технология производства карт, допускаю, что колонистский быт сам по себе сделался благообразнее, но ведь сама-то антигуманная суть этих калечащих, а не воспитывающих заведений, губительная для ребяческих душ, — она-то осталась незыблемой и поныне! Вот почему я вспоминаю, почему навязываю: чтобы не повторилось с другими. А не потому, что мне приятно дышать испарениями прошлого. Да и не стану я продолжать о колонии, довольно тоски, достаточно печали, как говорили немцы за своим забором: «Генук!» (Будя, пожалуй, — это если выразиться по-русски.) Добавлю только, что из колонии я убежал. И, как говорили у нас в городе Марксе, убежал «с концами». И правильно сделал. Своевременно. До того, как моей душе проржаветь насквозь, а ведь именно это ожидало ее в зоне. И еще: стихов о колонии, тюрьме, вообще об арестантском унижении человеческого достоинства я так и не написал. Ни одного. За сорок лет сочинительства. Не вдохновило.



**Во храме
бытия**





Глеб Горбовский на публичных выступлениях. 1990-е годы.
Фото Паптелева.



70 — 80-е годы

* * *

Вы ему — о Шекспире,
а он вам — по морде.
Вы — на слове, на лире,
он — на сексе, на спорте!

Вы ему — о Мадонне,
а он вам — о мясе.
Вот где душенька стонет,
вот где радость-то гаснет!

Вы ему — о рассвете,
о берёзе, о Боге...
Хорошо, что есть дети.
И — могилы. В итоге.





ОБЪЯВЛЕНИЯ

Забор. Бумажки. Кнопки. Тетки.
«Сдаю мочу».
«Лечу от водки».
Читаю, словно блох ищу:
«Куплю жену. Озолочу».
Имен и чисел кавардак.
«Подвал меняю на чердак».
Опять... жену! Вот сукин... дочь!
«Могу от немощи помочь».
Восторг! Куда ни кину глаз.
«Продам хрустальный унитаз».
А вот эпохи эталон:
«Есть на исподнее талон».
...Забор кряхтит, забор трещит
под гнетом суетных желаний.
Он — наша крепость, символ, щит!
А меч... дамоклов меч — над нами.





* * *

Нет, не посулам-почестям,
не главам стран и каст, —
я верю Одиночеству:
уж вот кто не предаст!

Лесами, сенокосами,
дворами (мимо, прочь!)
я сам в себе, как в космосе,
блуждаю день и ночь.

Без суеты, без паники,
порой — не без нытья,
без нудного копания
в завалах бытия

тащусь к мечте утраченной
в промозглые дворы,
к заветному стаканчику —
звезде моей норы!





* * *

Тревога позже родилась,
когда уже уплыл автобус.
Ночь навалилась, точно власть.
Дождь по асфальту так и хлопал!
Землетрясение души —
тревога!
Где твои начала?
Не в зарожденье робкой лжи,
а в том, как женщина молчала...
Как безучастно, а не зло
с лица она сгоняла воду.
И как смотрела сквозь стекло —
не на меня — на непогоду.





«ЛУЧШИЕ ЛЮДИ»

На заборе, не при деле,
на осеннем ветерке,
люди лучшие висели —
от плохих невдалеке.

Фотографии поникли,
пробрала их, с ветром, дрожь.
И серьезные те лики
поливал осенний дождь.

А в квартирах в это время
люди худшие, в тепле,
потребляли чай с вареньем...
Словом — жили на земле.

А меж тем и этим братством,
сам не свой, стоял поэт...
И решал: куда податься?
Середины-то ведь нет!





**ПАМЯТИ
НИКОЛАЯ РУБЦОВА**

В березовой рубахе,
в душистых сапогах
идет полями пахарь
с букетиком в руках.

Несет своей любимой
свой васильковый смех...
И вдруг — проходит мимо
ее, меня и всех...

Идет, уходит пахарь.
Дай Бог ему — всего...
И пролетают птахи
сквозь тень и плоть его.





* * *

Возвращение в дом, под родное крыло, —
неизбывная тема российских поэтов.
Возвращаюсь и я, оставляю седло.
Натыкаюсь на серую руку соседа.
Открываю ударом забитую дверь.
Опускаюсь на темную лавку вдоль окон.
Из-под печки доверчиво выбежал зверь, —
здравствуй, серая мышка! И ты — одинока?
С голосистым ведерком иду за водой,
раздуваю живительный жар в самоваре...
На стене фотография: дед молодой —
молодой принаряженный дедушка-парень.
...На кого он похож? На царя? На меня?
Где мы с ним разминулись
среди белого дня?





* * *

Г. В. Мельникову

У дороги, у самой развилки,
возле самого скрипа колес,
из-под снега торчала травинка...
Неуютно ей нынче жилось.
Тело травки пружинило ловко.
Не сломал ее ветер, не смял.
И торчала на лысой головке
уцелевшая пара семян.
... Я стоял, говоря ей «спасибо»,
и стыдил свое сердце: «Смотри,
одинокчество — это не гибель,
это мужество, черт побери!..»





РОЖДЕСТВО

Край неба — и звезда
в углу, как на конверте.
Рождение Христа —
спасение от смерти.

Снег. Прошлое. Мороз.
Мир распрямляет спину.
Нельзя смотреть без слез
на русскую равнину.

В сугробе, как пенек,
избушка в платье белом.
Но вспыхнул огонек
в окне заиндевелом!

Живи, Земля, живи.
Добра, сияйте, знаки.
Рождение Любви —
прозрение во мраке.

...Ему — людской тоской
быть на кресте распяту.
Тебе — своей рукой
возжечь в ночи лампаду.





МАДОННА

Я встретил женщину. Она
который год была пьяна.
Она была больна, негожа,
но... с Богородицею схожа.
В ее глазах — и свет, и мука,
и с сыном истины разлука.
В ее руке лежал пятак.
Она еще робела, клянча.
Так рысью вдруг припустит клянча
и вновь плетется кое-как.
И стал вопрос передо мной:
не ты ли, брат, тому виной,
что мать людей, ничья жена
в такую боль погружена?
Ты разве с болью той знаком,
чтоб откупиться пятаком?
И мог бы ты, ради Христа,
поцеловать ее в уста?





* * *

Светлане

Это были не райские кущи, ей-ей:
за больничной оградой десятков растений...
Я увидел ее в перехлесте ветвей,
и упала душа на колени.

В этой горсточке женского тела, в цветке
мне навстречу такие глаза горевали!
И такая большая усталость в руке
ощущалась, когда мне ее подавали.

Здравствуй, солнышко, встретились мы наконец:
гореванье твое и мое гореванье
будем вместе сгонять с опаленных сердец,
будем вместе! Союз — упование.

Это только казалось, что страшно упасть,
а упал — и опять снизошла к тебе милость.
Я целую тот дворик в кирпичную пасть,
тот мирок заповедный,
где ты мне явилась.





КТО ОН?

По дороге возле неба,
по остаткам гор и рек
пробирается нелепый,
нестандартный человек.
На устах его — улыбка,
за плечами — только тень.
По запарке, по ошибке
он не ест который день.
Он целует снег бесшумный,
у костра ласкает дым...
«Он — безумный, он — безумный!» —
кто-то каркает над ним.
...Ремешком к нему собачка
кое-как прикреплена.
«Эй, здорово, неудачник!» —
кто-то ляпнет из окна.
А ему одна забота:
улыбаться всем подряд...
«Идиот он, идиот он!» —
даже дети говорят.
В деревнях глухих, коцдовых
все его — из века в век —
принимают за святого,
зывают на ночлег.
А иных проймет досада:
«Кто — он?» — шепчут, пряча злость.
...Кто зажжет цветы над садом?
А — никто... Само зажглось.



МОНУМЕНТЫ

Особенно зимой, когда на площадях
метелица, а в сквере запустенье,
когда на бронзовых глазницах и грудях
распространится инея цветенье, —

как жалки ваши полые тела,
покрытые зеленкой трупных пятен,
в потеках голубиных, в метах зла
беззлобного, чей принцип столь невнятен.

Вот дедушка Крылов, вот с рожками сатир,
вот Афродита с патиной на ручках, —
как робко вы сейчас взираете на мир,
бездомные и в снежных нахлобучках.

...Вот бабушка с клюкой, живая, через сад, —
скрипят ее шарниры, ноют кости,
но вечным бытием ее пропитан взгляд,
и зябко ей меж вас, как будто на погосте.





ПРАЗДНИК В МИХАЙЛОВСКОМ

Мертвых елок на помойке
рассыпаются тела.
Стихли знойные попойки,
снедь слиняла со стола.
Баба хмурая, как буря,
что прошла над городком,
на крыльце стоит и курит,
посыпая матерком.
Нищих нет. У павильона,
запихав бутылъ в штаны,
на снегу уснул гулена
в ожидании весны.
Воробей над ним поплакал,
капнув белым на треух.
Подошла, зевнув, собака,
проворчала: «Вот лопух...»
Участковый дядя Коля
прочитал пивцу мораль:
«Замерзай, но выйди в поле —
за черту! Задвинься вдаль!
Не тревожь народ, скотина,
под святое Рождество!»
...Новогодние картинки.
Праздник. Только и всего.



* * *

Розовела вода в свеженалитых лужах.
Молодая кобыла в пространстве умытом
пробегала, вжимая пушистые уши,
колотя по воде сумасшедшим копытом!

Молодая трава на глазах удлинялась,
вылезая наружу из мрака отверстий.
Молодая земля, как волчица, линяла,
обрастая на солнце зеленою шерстью.

Убегала дорога рассвету под брюхо.
Над дорогой птицы вершили балеты...
А внизу, на дороге, стояла старуха.
И была она — внешне — древнее планеты.

И внезапное в сердце вошло ощущение,
что не кровь пробегает по жилам, а время!
И что всякая радость достойна прощенья,
потому что за ней — увядания бремя.





МАТЕРИ

Предвоенные дожди лета,
на Варшавском вокзале цветы!
...Я впервые на поезде еду.
Десять дней до Великой Черты.
Провожает меня, задыхаясь
от улыбок и жалобных слез,
мама... мама моя молодая,
золотой одуванчик волос!
Умоляла попутчиков слезно
присмотреть за мальчишкой в пути...
Слышишь, мама, гудок паровозный?
От вагона, дружок, отойди!
...Мы расстались. И время проворно
понесло нас по рельсам своим.
Напиталась война... И тлетворный
над дорогой рассеялся дым.
Далеко мы заехали, знаю.
До седин. И тебе не в укор —
всё я вижу: не ты, а иная
провожает меня до сих пор.
Вижу лето и солнце, как мячик,
над перроном. И люди в купе.
Золотистых волос одуванчик
все мелькает в нарядной толпе.

Провожает меня иступленно,
за окном продолжает бежать
И уже до последнего стога
будет в жизни меня провожать.





РУКИ

Стареют прежде руки: мы их видим.
Лицо нам заменяют зеркала.
В обратном, искаженном, плоском виде —
зеркальной сказкой молодость прошла.

А руки... В шрамах, линиях, узорах —
в подробностях! — они и в смертный час,
уложенные накрест перед взором, —
последнее, что видит влажный глаз.





ТЕБЕ, ГОСПОДИ!

Бегу по земле, притороченный к ней.
Измученный, к ночи влетаю в квартиру!
И вижу — Тебя... И в потемках — светлей.
...Что было бы с хрупкой планетой моей,
когда б не явились глаза Твои — миру?

Стою на холме, в окруженье врагов,
смотрю сквозь огонь на танцующий лютик.
И вижу — Тебя! В ореоле веков.
...Что было бы с ширью полей и лугов,
когда б не явились глаза Твои — людям?

И ныне, духовною жаждой томим,
читаю премудрых, которых уж нету,
но вижу — Тебя! Сквозь познания дым.
...Что было бы с сердцем и духом моим,
когда б не явились глаза Твои — свету?

Ласкаю дитя, отрешась от страстей,
и птицы поют, как на первом рассвете!
И рай различим в щебетанье детей...
...Что было бы в песнях и клятвах людей,
когда б не явились глаза Твои — детям?

И солнце восходит — на помощь Тебе!
И падают тучи вершинам на плечи.
И я Тебя вижу на Млечной тропе...
...Но что б я успел в сумасшедшей судьбе,
когда б не омыла глаза Твои — вечность?



Глеб Горбовский на отдыхе в г. Ока-на-Сахалине. 1958 г. Здесь в геологических партиях рождались стихи и песни, но только малая часть из них вошла в первую книгу поэта-геолога «Поиски тепла» (1960). Горбовский входил в знаменитое «Горняцкое ЛИТО» Глеба Семенова, выпустившего в 1957 г. крамольный поэтический сборник, весь тираж которого был уничтожен за публикацию стихотворения Л. Агеева «Дорога в небо».

Глеб Горбовский причислял себя к «ГЛЕБГвардии СЕМЕНОВского полка».



В ОМУТЕ СТИХОПИСАНИЯ

Из книги «Остывшие следы. Записки литератора»

Добивая шестой десяток лет, все чаще ловлю себя на крамольной мысли: не хочется жить. Устал, притомился. Голова кружится. И если бы — от вина или успехов. В основном — от сужения сосудов. В походке — неуверенность. Зубы пропали, стерлись. Зрение на исходе. Слух перерождается в шум. Ко всему еще — неуверенность: на ту ли карту поставил, принимаясь за писательство? Не правильнее ли было просто задуматься... лет этак на пятьдесят? Лежа на продавленном диване и размышляя о том же, только — без применения письменных принадлежностей и неизбежной писательской маеты?

В зеркало посмотришь — смотреть противно: лицо расплылось, испортилось. Хоть не брейся. Не по этой ли причине люди бороды отпускают? Чтобы не видеть себя? Прежнего, ускользящего? И вообще суета сует, только без начальных прелестей жизни: без трепета первых любовных свиданий, без первой пойманной рыбки в реке, первой земляничны душистой возле старого, сухого пня, без первой соловиной трели, пробудившей в тебе прекрасные чувства, без первой военной бомбежки твоего детства, да мало ли без чего, без каких неповторимых открытий и событий земного присутствия предстоит тебе жить отныне, теперь, когда все ясно, все понятно. Как бы все. И как бы ясно. И чудеса — разве что в кино или в приключенческих книгах, читать которые не то чтобы не хочется — нету сил.

Мрачноватый пассаж. Но — достаточно искренний. Не можетя жить, однако живешь. Спрашивается — почему? Что прежде всего побуждает? А вот что: любовь. Лица детей. И не только своих собственных. Это раз. Поиски Бога, в которые ты углубился, будто в девственную тайгу, и далеко зашел. Это два. И призывы твои в теологических дебрях небезответны, ибо отклик — в тебе же самом; и нельзя повернуть обратно, не из-за потери ориентации, а потому что, подобно бабочке, стремишься на свет из тьмы. Что еще удерживает? Красота. Скажем, весенний гулкий лес, полный надежд и ликующих звуков. Или живое колыхание океана, морской волны — именно так вздымается грудь дышащей планеты.

Что еще оставляет нас на жизненной тропе иллюзий в минуты отчаяния и невыносимой усталости, что не дает сорваться в непроглядное, усыпляющее окошко манящей трясины забвения? Что — помимо страха? Лично меня — мания сочинительства (в отличие от мании величия), благословенный «мпротворящий», словосозидательный кайф. Какое-нибудь внезапное сочетание слов, образующее поэтический смысл, насквозь пропитанное тем или иным чувством — умплением, верой, раскаянием, любовью опять же. Не воспоминания о таких мгновениях возбуждают, не ностальгия по ним, а как раз предчувствие оных!

Покуда живет в тебе предчувствие творца, создающего начала, все твои мечты о смерти несостоятельны и отдают если и не кокетством, то наивностью. Итак — сочинительство. То есть — служение магии слова. В частности — магии рифмованного слова, поклонение стиху. С чего началось — помню смутно, а вот когда и где — отчетливо. На заре туманной юности, в деревне...

Внешне выглядело таким образом: возле жилищной начальной школы, под двумя большими, «до-

родными» плакучими березами, в зарослях крушины и орешника «произрастала» аккуратная рубленая подсобная избушка.

Представляете, четыре года скитаний, трупный смрад и пепел, сквозные и рваные раны, окоченевшие трупы повешенных, пустыри и пожарища, бездомье и нары лагерно-барачного кромешного быта, и вдруг — собственный уютный уголок. Причем не комната, не квартира, а дом. Домик в два оконца. Дощатый стол.

Вот так и получилось: сел за стол, посмотрел в окно, по которому тихо слезился нежный, вкрадчивый летний дождь. И захотелось что-нибудь впервые сочинить.

Выпросил у отца дефицитную по тем временам школьную тетрадочку, сел за стол, «окинул взглядом кабинет» и... не сходя с места, начал «слагать», выдав к вечеру пяток «стихотворений», главным свойством которых было разве что элементарное занудство, этакий ритмический бубнеж, навеянный однотомником И. С. Никитина, блатными «жалостливыми» песнями поездных инвалидов. До сих пор при воспоминании того изначального, исходного «писчего» момента удивляюсь собственному бесстрашию, с которым ринулся в беспросветный омут стихописания. Знать бы, чем все это обернется, какие дивиденды приобретешь, каких радостей жизненных лишешься «на почве сочинительства», — подумал бы хорошенько, прежде чем выводить первую строку приблизительно такого содержания:

Прилетели грачи. Отчего мне так больно?

Над погостом слепая торчит колокольня...

и т. д. — по открытке с саврасовских грачей, которые прилетели.

Что еще толкнуло? И почему не в сторону коммерции, изобретательства, воинской карьеры? Одному Богу известно.

Настораживает и одновременно обнадеживает другое, а именно — выбор темы: полуразрушенная, испоганенная, изглоданная непогодами, безмолвная и безглазая сельская церквушка со сшибленным крестом, приспособленная под хранилище картошки. Далее — стихи о развалившейся, с торчащими ребрами лодке, о лодочном скелете, и еще — целая поэма о покинутой деревне Кроваткино («Мертвая деревня»), что в пяти верстах от Жилина — на глухой лесной поляне, деревня-призрак, без единого жителя, поросшая бурьяном, вернее — проросшая им насквозь, потому что крапива, полынь и прочий чертополох лезли из щелей избышек, из окон и дверей, как щупальца смерти. Все это не столько страшило, сколько настаорживало: и это — Жизнь?

Что-то было, какие-то смыслы:
то ли хутор, а может — погост?
Эти выступы почвы бугристой,
словно формулы, буквы, числа...
И — трава в человеческий рост.

Как видим, сюжеты прихлынули не из изящных. Отсюда, полагаю, и мое дальнейшее пристрастие — тащить в стихи все ущербное, униженное, скорбно-неприглядное, измученное непогодами Бытия. И уж если какая красивость и вспыхивала на странице, то и не сразу ее хотелось гасить, топтать — вычеркивать, потому как — несоответствие заворачивает. А стало быть, и впрямь прекрасное — из глубин жизненных, тогда как идеальное — от созерцания примет бытия: цветка, чьих-то глаз, звезд небесных, творца, подразумеваемого и предощущаемого.

Отец, на которого я безжалостно пролил свои первые лирические опыты, поначалу пришел в ужас, подвергся панике, решив, что с этого дня я непременно заброшу обучение по школьной программе, нравственно сгину, оставшись неучем. Тогда же за ужином был поднят вопрос о предании крамольных

опытов огню. Но было уже поздно: я вкусил. Не просто заупрямылся, но подвергся сладчайшему из соблазнов. То есть — посягнул на ремесло — сродни божественному. И вот что удивительно: оба мы — отец, одержимый рациональной заботой моего обучения наукам, и я, бессознательно окунувшийся в сочинительство, — ставили перед собой одну (в итоге) цель — вытащить меня из растительно-животного состояния, то есть отслоить от природного мира «чистой материи», где настоящее — миг единый, а то и вовсе ничто, отслоить и передать в мир духа, в царство интеллекта, где проживал бы я, по крайней мере, в трех измерениях — в настоящем, прошлом, будущем, а если повезет — и в воображении, то есть в мире образов и в мире фантазий. Чтобы я в конце концов не просто задумался, но отважно спросил себя: кто я, человек? И не менее отважно ответил: аз есмь мысль, воля и совесть подобия божия, малая ее искра.

О духовной сфере бытия с некоторых пор хочется высказаться определеннее. Не для того, чтобы «закрыть тему», а для того, чтобы не зябнуть в дальнейшем от постоянных сомнений. И предчувствий. Сказать определеннее о нематериальном — значит заземлить высокое, горнее, породнить (или столкнуть?) небо с землей. Скажем, словесно озвучить какую-нибудь тяжелую, нержавеющей, из благородного материала мысль вроде: «Труд есть одухотворенная материя». Подтвердив эту мысль возникновением из «мысленного небытия» любого из предметов, окружающих нас в жизни, — карандаша, стакана, шляпы, книги, лампы, часов, ибо что они, как не воплощенная воля, задумка, идея, фантазия разума, отлитая в определенную форму?

Отец недавно рассказал про смерть своего това-

рища, солагерника, побывавшего, как и отец, в «ежовых рукавицах». Умирал этот человек уже стариком, в домашней обстановке, в своей постели — где-то в конце семидесятых. Умирал убежденным атеистом, причем атеистом-спорщиком, атеистом-пропагандистом. И тут необходимо сказать, что с моим отцом этот бедолага, несмотря на прочную житейскую дружбу, в одном вопросе никак не сходиллся, постоянно выяснял отношения, даже конфликтовал, а именно — в вопросе о местонахождении на земле... Бога.

Философствовали, как правило, за вечерним чаем в компании сверстников, то есть людей пожилых, прошедших отпущенное судьбой от края до края. Беседы свои душеспасительные иронически именовали журфиксами. На одном из таких журфиксов товарищ отца, долго и безнадежно хворавший опухолями внутренностей, воскликнул из глубины кресла, в котором полулежал, принимая посильное участие в чаепитии:

— Где он, этот ваш... благодетель?! В каком измерении пребывает? И есть ли ему дело до нас? Почему тогда носа не кажет? Не напоминает о себе? Где его царство-государство расположено? В какой галактике, если не здесь, не на грешной земле? В каком мире его искать? В какой мгле?!

Тогда мой отец отвечает больному словами Христа:

— Царство мое не от мира сего.

— А где же тогда?! На луне, что ли? Если оно есть, то кто-нибудь наверняка его видел или слышал о нем. Кто, кто, помимо мифического Христа и литературного Данте Алигьери, может сие подтвердить? Чтобы — конкретно! На ощупь! А коли нельзя ни увидеть, ни потрогать руками, то и... заткнитесь вы со своим Богом!

Однако отец не собирался уступать позиции. Оба теперь стояли на краю жизни: отцу — за восемьдесят, его оппоненту — чуть меньше, но у последне-

го — болезнь, из которой выбраться не чаял. Терять обоим, кроме души, было нечего. Вопрос они теребили, выражаясь социальным языком, архиважный, не просто отстраненно-мировоззренческий, но конкретно-гамлетовский: быть им или не быть в глобальных масштабах, а не в мелких, земных частностях? И тогда отец спросил товарища:

— Вот говоришь — нельзя пощупать... А скажем, пришла тебе в голову мысль, ну хотя бы эта самая, о прощупывании. Ее-то, мысль, можешь ты прощупать? Пальчиками? К тому же — откуда пришла? Не с неба же свалилась? Или вот... внука своего, Андрюшку, любишь. Любовь к нему в твоём сердце имеется. А ты ее видел когда-нибудь, любовь сию конкретную, глазами своими близорукими? Хотя бы при помощи очков? Так где же она? В документах, удостоверяющих личность? В сердце она твоём! Вот и... Бог там. Или, скажем, ненависть к врагам своим. Взвешивал ты ее на весах справедливости? Сколько ее потянуло? И в каком она вещественном виде — навряде песка или жидкая? Да и сам ты на свете — кто? Мешок с костями и требухой или носитель всевышней воли, мысли, века пронзающей, воображения, переносящего тебя хоть на Марс, хоть в колхоз «Светлый путь», совести, не позволяющей тебе до конца дней терять образ «венца природы» — человека? Ведь и ее, совесть-то, кстати, не ущипнешь, не прикинешь на глазок, не обрабатываешь на вычислительной современной машинке!

Вот такие беседы, такие журфиксы, такие страсти. На последнем витке движения вокруг солнца (не вокруг же себя?).

Без веры в бессмертие души человеческой не только умирать — жить тяжко, даже молодым. А с возрастом — не только тяжко, но и невозможно. И тут важно будет спросить Небо (не воздух же): всем ли на земле дается такая возможность — поверить в

бессмертие человеческого духа? И, не задумываясь, ответить: да, всем! Даже самым нерадивым, с подслеповатым разумом:

Увы, не каждое творенье
слывет бессмертным наяву,
но всем доступно утешенье —
в стремленье духа к Божеству!

...В армию призвали меня весной пятьдесят первого. За три года армейской службы мне удалось отсидеть на гауптвахте двести девяносто шесть суток. Все-му причина — дерзкое поведение. И конфликтовал я не с начальством, а так сказать — с миром вообще. Начальство, наоборот, только сдерживало мои порывы и, когда надо было судить «разгильдяя» трибуналом, смягчало впечатление от содеянного мной.

Губило меня анархическое состояние духа, почерпнутое не только на «театре» военных действий или в бегах по белу свету, но, как я теперь понимаю, отпущенное мне природой. Этакое душевное качество вольноопределяющегося. Поступки мои в основном были трех категорий: совершаемые против тупой сержантской муштры, затем — творимые «по пьянке», а также — из жажды свободы. Имелись еще порывы на любовной подкладке, когда тяга к определенному существу женского рода застилала не только глаза, разум, но и чувство ответственности, то есть — страха.

Что меня спасало в армии от потрясений более ощутимых, от наказаний тюремных за все мои выкрутасы, от последствий, которые шли за мной по пятам? Как ни странно — стихи, то есть и они тоже. Прекраснодушная Муза, взявшая надо мной покровительство. В момент, когда над моей головой до предела сгущались тучи, милосердная Муза подсказывала заливчатский стишок в полковую газету или заставляла выступать на политинформации с лекцией о творчестве великого русского поэта Некрасо-

ва (бывшие урки, когда я им напевал «Меж высоких хлебов затерялся...», неподдельно плакали); Муза писала за меня сценарий праздничного концерта, пересыпанный бойкими частушками и пародиями на «актуальную тему». И глядишь — на груз многочисленных взысканий наслаивалась очередная благодарность, исходившая, скажем, от начальника политотдела, которая и покрывала своей весомостью тяжкие грехи моей солдатской молодости.

Стихи в армии писал я двух планов: для печати и для «народа» — для своих друзей-сослуживцев. Двойная мораль в творчестве была тогда как бы запрограммирована общественной моралью, о так называемой, буржуазного происхождения, «свободе творчества» никто даже не помышлял всерьез. Все еще было актуальным понятие «неосторожное слово», которое не только не печатали — за которое давали срок. Мои стихи «для печати» резко отличались от «народных» своей причесанностью, благообразностью и совершенной бессердечностью. Мертворожденные — так бы я окрестил их с высоты утраченного времени. Самое удивительное, что стихи эти... не печатали. Ни «Советский воин», ни «Советский моряк», ни «Работница» с «Крестьянкой». Вот уж действительно — Бог уберег. В этих непечатавшихся «печатных» стихах было все, что нужно редактору того времени: верность Родине; кремлевские елочки; бесстрашный юный воин, охраняющий склад с припасами; величавая Нева, по которой солдат грустил. Сталина, правда, в них никогда не было: сказались жилинские, за вечерним самоваром беседы с отцом, у которого за восемь лет лесоповала сложилось об этом человеке определенное, весьма далекое от поэтических идеалов мнение. Не присутствовало в печатных стихах разве что... поэзии. Искреннего чувства. Не ночевало оно там. И вот что примечательно: стихи эти исчезли. Все до

единого. Смыло их, как серую пыль с лица земли. Не сохранилось при мне ни единого листочка с их начертаниями. И как же я благодарен тем литконсультантам из «Советского воина» и «Работницы», раскусившим мои гнусные намерения — выдать рифмованное вранье за крик души.

Стихи второго, «народного» плана были непечатными по другой причине: из-за своей безудержной откровенности, из-за присутствия в них так называемых непечатных слов. То есть совершенно иного рода крайность. В дальнейшем, на пути к профессиональному писательству, мне постоянно приходилось сближать обе крайности, как два непокорных дерева, грозящих разорвать меня на две половины. И слава Богу, что одно из этих деревьев оказалось в своей сердцевине гнилым и треснуло, обломалось. Так что и сближать в себе с некоторых пор стало нечего, а вот очищаться от бесконечно многого — пришлось. Под знаком очищения от самого себя, от наносного в себе и прошла моя «творческая деятельность», и процессу тому не вижу завершения при жизни.

Из тогдашних стихов «народного» плана наиболее характерным опусом являются стихи, ставшие довольно известной песней (в определенных кругах, естественно) «Фонарики».

Что дала мне служба в армии? Многое. Закалку, мужество, смекалку, дополнительную выносливость, уроки братства, ростки скептицизма и цинизма, ностальгию по свободе подлинной и презрение к свободе мнимой, хотя от запаха гнилых портянок я и до службы не морщился. А что взяла? Гораздо меньше. Остатки иллюзии. Поскребки детства... Плюс — равнодушие к слову, научив в какой-то мере отличать слово продажное от слова сердечного.



* * *

Отчизна в поисках кормильца
читает лозунг на стене.
Бюрократические рыльца
желают лучшего стране.

А что — народ? Сыны Отчизны?
...Как бы присутствуя на тризне,
по вынесении икон, —
усердно варят самогон.





ВОЗЛЕ МОНУМЕНТА

Глас истины
ненастным летом
заслышал я среди громов:
«Поэту должно быть поэтом,
а не властителем... умов».
Слыл уникальным, гениальным,
слепым, как дождь,
родным, как грусть,
а стал, увы, — официальным...
И что в итоге?
Пуля в грудь.
Летал, как кенар, в желтой кофте,
клеймил насмешкой пошлый быт!
А быт уже готовил когти...
И что в итоге?
Был убит.
...Стою на площади московской
в дождливый час, в дождливый век
и вижу: плачет Маяковский —
монументальный человек.
При жизни был кумиром, бонзой
среди поэтов!
Жил грешно...
А что в итоге?
Плачет бронза...
И нам, ей-богу, не смешно.



ВО ХРАМЕ БЫТИЯ

Во Храме Бытия,
где голубеют своды,
не замер камнем я
и не истек, как воды.

Свечою не оплыл
и не опал листвою...
Не гением прослыл,
а — лишь самим собою.

Срывал и я плоды,
тщетою мозг мороча,
но были мне черты
небес — милее прочих.

Не избегал утех,
боготворя земное,
но лица женщин всех
сошлись в одно — родное...

Немало стран узрел,
кочуя и бытуя,
но лишь одну воспел —
Россию, Русь святую.

...Во Храме Бытия,
где фимиам и сера,
ликует плоть моя,
но — торжествует вера!



ФЕВРАЛЬСКИЕ СТИХИ

Февраль. Холодные стихи.
Слова, подтаяв, ждут доводки.
Давай серьезно, без хи-хи
сегодня выпьем белой водки.
Прозрачной, страшной, как любовь,
берущей за душу, как песня!
Февраль, стихи — огрызки слов.
Идей заиндедевших плесень,
труха осклизлая идей...
И ложь в зубах: «Люблю... лю-дей...»





* * *

Что ж, пожито в е с ь м а!
И не сулят бессмертья
ни проблески ума,
ни всплески милосердя.

И если оглянусь
разок перед уходом,
то — на Святую Русь,
на храм за поворотом,

на избы в три окна,
припудренные мраком,
на пыль от табуна,
что пахнет аммиаком,

на русло от реки,
на шрам — от ощущенья,
на взмах твоей руки,
дарующий прощенья.





УРОД

Опять иду по февралю
меж снежных завитушек.
...Порожних зданий не люблю —
ни храмов, ни избушек.
С трудом привыкший к бытию,
не к тапочкам — к эпохе,
передвигаюсь в даль свою
и вдруг... замру на вздохе.
Там, на окраине зимы,
есть дом — пустой, как череп, —
футляр для снежной кутерьмы,
никчемн и вечерен.
Издравле здесь была тюрьма,
а нынче в ней бесплатно
зимой содержится... зима,
а коли так — и ладно.
Домов порожних не люблю,
но к этому уроду
хожу и душу веселю,
как воздух, пью свободу.
Пусть ветер семечко весной
швырнет ему во вьюшку,
чтоб он зарос бурьян-травой
по самую макушку!



В. М. ШУКШИНУ

В Москве на съемках, в павильоне,
в киношном мире, как в бульоне,
среди лицедеев — новичок —
варился этот мужичок.

Среди красавцев и красавиц,
как меж волков — летящий заяц,
забавный — ухо на плече,
улыбка — песня при свече.

Так, в сапожонках на резине,
на совести — не на бензине,
пешком, тишком, в венце двух лир
Шукшин ворвался в этот мир!

И с этих пор мерцает зыбко
его сиротская улыбка
с экрана Памяти, из книг...
Он в нашу боль живую вник.

...Однажды ночью на дороге,
там, где алтайские отроги,
мою машину — вещей знак! —
остановил один чудак.

Нет, он не сел ко мне в машину,
он указал мне на вершину:
«Там...» — прошептал он сквозь года.
И я пошел за ним туда.



* * *

Вдали от глаз людских, от бренного труда
на кладбище людей есть статуя Христа.
Деревья пышные и птичий всплеск рулад, —
не скорбная юдоль, а Гефсиманский сад!

В ногах у статуи цветов живых не счесть.
И, шустрые, шуршат песком старушки здесь.
Не у фабричных же ему стоять ворот:
он там, где никого... Где — все, но в свой черед.

Он там, где тучно громоздится тишина,
где правда от мечты стеной отделена,
где ветры кроткие в листве... И тень листвы
на бронзовых устах — как Жизнь, а не «увы».





ЕЩЕ

Глаза в синеве поднебесной купаю,
остатки любви из груди выскребаю.
Еще мне милы — и река, и дорога,
береза и тень от нее до порога.

Еще меня птицы волнуют и травы,
и люди, особенно — отчей державы.
Еще меня мысли тревожат средь ночи,
но мягче душа моя с миром и проще.

Еще меня трогают взоры иные,
но я в них читаю права неземные.
Еще меня манят в просторы тропинки,
но что они знают — пески и суглинки?

И песни терзают мне ласкою грудь.
Но я уже вижу единственный Путь.





* * *

Человек мыслящий уже понял, что на этом берегу у него ничего нет.

П. Флоренский

Нет ничего на этом берегу.
Зато на том — ромашки на лугу,
душистый стог, сторожка лесника,
слепой полет ночного ветерка.
...Нет ничего на этом берегу.
Любовь, ты — мост. Я по тебе бегу.
Не оглянись! Что я оставил там?
Тоску-печаль по вымерзшим садам?
Плач по друзьям, истаявшим в огне
земных борений? Но друзья — во мне,
как я — в сиянье этих вечных звезд,
что образуют в тринединство мост.
Не оглянись! Метель в затылок мой.
То дышит мир, что был моей тюрьмой.
Не я ли сам — песчинка в снах горы —
себя в себе захлопнул до поры?
...Прочь от себя, от средоточья тьмы —
на свет любви, как будто от чумы,
перед единой истиной в долгу...
Нет ничего на этом берегу.





* * *

Очнуться от прокисших нег,
взглянуть в окно и ахнуть: снег!
Не только смена декораций,
но — высшей нежности урок:
не только в зиму перебраться,
но — страстно выйти за порог.
Из меланхолии — в веселье,
из отщепенства — в кутерьму.
Душа справляет новоселье
еще при жизни, на дому!
И молча, как спросонок зверь,
теплом разверстым дышит дверь.





ТОНКАЯ РЯБИНА

Рассказ шофера

Лишних слов не тратил
на печаль, на пьянку, —
на Колымском тракте
он крутил баранку.
Речи вел вполсилы,
слог — не скуп, не весел, —
что-то в нем сквозило
от ямщицких песен...
«Я отца не помню.
Помню маму Свету,
стол, весельем полный,
музыку, Победу!
За окном раскаты
долгого салюта,
речи и плакаты,
и... пельменей блюдо.
И... тушенки банку!
Мать, согнувши спину,
пела под тальянку
«Тонкую рябину».
Помню мамы позу.
Инвалида Лешку.
Как катились слезы
на его гармошку...»

...Замолчал. Без фальши.
Подкачали силы.
«Что же было дальше?» —
мы его спросили.
«Дальше было хуже,
вот какое дело...
«Горькую» по мужу
каждый вечер пела.
А потом уж скоро
и засохла, братцы...
А ведь ей в те поры
было только двадцать!»





ЗАЧЕМ

Вновь журавлей пунктир...
Судьба подобна мигу.
Досматриваю мир,
дочитываю книгу.

Понурые слова,
нахохленные птицы.
Поломана трава,
листва с ветвей стремится.

Все гуще мгла ночей,
все жиже сны в просветах.
Не спрашивай: зачем?
Спросив — не жди ответа.

Не притяженью вслед
листва стремится с веток —
а чтоб к родной земле
прижаться напоследок.





* * *

М. Борисовой

Блуждаю в прошлом, как подлодка,
что всплыть не может подо льдом.
И от мольбы вспухает глотка
в пространстве, смертью налитом.

С годами душу вяжут путы,
и ты плетешься, слаб и сир...
И манит прошлое, как будто
оно — потусторонний мир.

Путь в запредельное неведом.
И нужно — всплыть! И жаждет грудь
происходящего отведать,
как будто воздуха хлебнуть.





* * *

Он звал меня, как пить просил — глоток! —
тот на войне сгоревший городок.
Его костями, как зверь, хрустел прогресс.
Но через эти муки — он воскрес!
И звал меня. И я, склонив судьбу,
к нему вернулся, словно дым в трубу.
И... не узнал — ни улиц-площадей,
ни стен родимых, ни родных людей.
Да тот ли город? Верится с трудом.
И вдруг — о, чудо! — уцелевший дом.
Среди вставных бараков, блоков, труб —
старинный дом, как уцелевший зуб!
Кремень-кирпич, чугунное крыльцо,
два голубых окна во все лицо.
Кто этот дом от смерти уберег?
Дитя невинное? Иль — старость? Или — рок?
А может, ясная — алмаз в кипенье зла —
любовь двоих, что все перемогла?





* * *

Я в этот город больше не вернусь.
Не потому, что я ему не нужен,
что нет церквей, а также — зимней стужи...
Все эти горы, волны, ветры, лужи —
еще Россия, но уже — не Русь.

Так думал я до нынешнего дня,
когда в порту, у самого причала,
я встретил существо. Оно молчало.
В ручных глазах отчаянье кричало,
все прочее из этих глаз тесня!

Я предложил ей ломтик колбасы.
Она взяла. И сразу стало ясно,
что я не прав: печаль ее не гасла.
Мы одиноки врозь. Увы, напрасно
в моих глазах созрели две слезы.

Она ушла, едва качнув хвостом.
Мы одиноки поро́знь, вот в чем штука!
У нас в глазах одна пылает мука,
одна обоим предстоит разлука,
но одиноки — врозь... при всем при том.

Я в этот город все же не вернусь:
не хватит сердца — пить былую грусть.



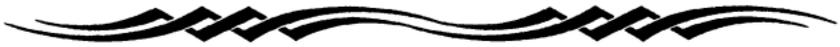
* * *

Заглохший сад, порожняя изба,
на всю округу — полторы старухи.
Что это — сон? Мистерия? Судьба?
«России нет...» — ползут, как черви, слухи.

Дурные слухи, скверные дела.
Отчизны имя будто плод запретный.
Лети, лети над клевером, пчела,
звучи, звучи в душе, напев заветный!

Все это враки, выдумки, молва,
всего лишь — пыль дорожная над полем.
Мертва — бывая... Вечная — жива!
И выть, как по покойнику, — доколе?





ХУДОЖНИКУ-МОДЕРНИСТУ

Художник решил отразить этот мир.
Он страсти такие пролил на холсты,
как будто в мозгу его вызрел вампир
и все искажил до последней черты!

Зачем он старался унизить простор
и цвет обессмыслить? Откуда сей пыл?
Не знал он, что дьявол, прищулив свой взор,
рукою его неразумной водил.

Как можно, вникая в свой смертный секрет
(не просто — в одну из вселенских разлук),
писать без улыбки безгрешный рассвет
и ветра в ветвях фиолетовый звук?

Я знаю: хотел он, коверкая жест,
вниманье привлечь, как поймать на живца.
Но разве гордыня — единственный крест,
что должно нести нам тропею творца?

Как ясно на сердце. Плывут облака.
Питается прошлое правдой живых.
И ветры, и воды, и взгляд сквозь века
бездонно-прозрачны, как пушкинский стих!

Цветы полевые растопчут стада.
Затмит пролетающий спутник звезду.
Я верю, что правду спасет красота.
Но кто от неправды спасет красоту?



* * *

Все постепенно: красота
подспудно зреет в юном лице,
цветок на куполе куста,
тревога в журавлином клике,
все, все — внутри нас и вокруг —
заботе внемлет безупречной:
не перестраиваться вдруг,
но — совершенствоваться вечно!





НА ПУСТЫРЕ

Благословенна отчая земля,
любой пустырь, где яснолико
восходит одуванчик, земляника —
сквозь мусор века взгляд мой веселя!

Не созерцать, но трепетно любить
меня зовут бетонные торосы,
и эти анемичные березы,
и эти травы, стонущие: пи-ить!

Блуждая в лабиринте вещей книг,
нет, я не в них, а там, где слезы зреют,
ту истину, что истин всех добрее,
на пустыре излюбленном постиг.

Во зле животрепещущем тесны
границы счастья бытия людского,
как счастья одуванчика простого —
от золота волос до седины...





УЛЫБКА

Я стал просыпаться с улыбкой.
Внедрилась такая черта.
Все ломкое сделалось гибким:
терпенье, восторг, красота.

Стучит подоконная птица,
пытаясь разрушить мой сон,
а сон, не успев преломиться,
густеет, как благовест-звон!

Наверное, так вот будила
планету, лишенную бед,
улыбка! О, лишь бы хватило
ее — на последний рассвет.





НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ

Уже под крышу возведен,
еще глазницы окон слепы;
выюнком-дичком переплетен,
и нет лица: есть маска, слепок.

Не мертвый, но и не живой.
Полувозник, полураспался.
И — что с хозяином? Запой?
Тюрьма? Хвороба? Сник, сломался?

Увлек его иной удел?
Где нынче дух его витает?
...А может, просто расхотел:
сидит и книжечку читает.





1952 г.

Глеб Горбунский с отцом Яковом Алексеевичем Горбунским (1900—1992 гг.). Отец поэта родом из старообрядческой крестьянской семьи Овсянниковых из деревни Горбово был одержим русской литературой и поэзией. Всю жизнь учительствовал.

Фото из архива Г. Горбунского.



БОСИКОМ

В. Лихоносову

Притомился на знойной дороге,
снял обувку, прохладой влеком,
и, терзая землицею ноги,
неумело пошел босиком...

Что тут было! Особенно с сердцем,
поощрившим такую игру.
Вся история пращуров сельских
всколыхнулась, как рожь на ветру.

Заструились священные токи
ввысь, по жилам — от сердца земли.
И бесстрашно на сером востоке
новым днем облака зацвели.





* * *

Шумит за окном затяжной,
брюзгливо стучащий по листьям...
Опять притащилась за мной
тоска, изгибаясь по-лисьи.

Виляет горячим хвостом,
зовет за собой на болото.
«Ступай, — говорю, — со Христом!
Мне нынче не плачется что-то.

Я лучше дровец наколю,
огнем пропитаю поленья.
Я все еще солнце люблю,
любое его проявление».

И вот уже пламя внахлест.
И вот уже кто-то у печки,
поджав ослепительный хвост,
свернулся пушистым колечком.





КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕТИ

Так повелось на свете,
впиталось с молоком:
«здоровкаются» дети
с прохожим чужаком.

Пострел обронит слово,
в глазах притушит свет
и весь замрет сурово:
ждет на привет — ответ.

Весь в цыпках-царапушках,
озяб наверняка;
тесна его избушка,
улыбка — широка!

И хочется, и нужно
за тот привет — не жаль! —
отдать ему всю душу,
взять — всю его печаль...





* * *

Восславим свежий хлеб, газетный лист,
конкретной электрички бег и свист,
глаза сиюминутных Афродит...
А прошлое лишь душу берedit.

Очнемся — не от запаха мимоз —
от ностальгий, сосущих кровь и мозг,
от поминальных вздохов по Руси —
она жива. И *не* на небеси.

Жива в глазах приютского дитя,
в тоске пропойцы, снятого с гвоздя,
в забытой бабке в мертвом хуторке,
а не в спортсмене с гирею в руке.

Она жива... Но скорбен древний лик.
Дадим ей хлеб (а смысл ее велик).
Вернем улыбку в блеклые уста.
Побег из сна, как снятие с креста.

Пришла пора — проглянул в снах предел.
Преображенье — вот ее удел.
Пришла пора — веление судьбы —
опять вздымать Россию на дыбы!





УШЕДШИЕ

Вас было больше, чем листвы
на этих тополях.

Бурьян-травой накрылись вы,
землею съеден прах.

Живым все чаще — не до вас,
всяк прав — в своем седле.

...Но иногда восходит час —
Час Мертвых на земле.

Я вижу, как, за валом вал, —
дым без костей, без жил, —
неспешно входят в степь, как в зал,
все те, кто прежде жил.

Всю ночь, как дикие цветы,
колышется их строй.

И шум посмертной суеты
доносится порой.

И я, очнувшись от тоски,
стою над бездной всей...

И две своих живых руки
ласкаю, как друзей.





РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ

Не из дерева-кирпича,
не из мрамора и гранита —
из немеркнущего луча
плоть благая ее отлита.

Православная, вопреки
всем печалям — не пала низко.
Колыма, Сибирь, Соловки —
вот героев ее прописка.

Ей завещана страсть — не страх.
Страстотерпица! Слышу эхо:
то горят на своих кострах
Аввакумы двадцатого века.

Не иссякла в кровавой тьме,
не изникла в бесовской смуте.
Вот она стоит на холме
в осиянной Господом сути!

Пусть одежда ее проста,
цель — подвержена злым наветам.
Свет негромкий ее креста
неразлучен с небесным светом.





ОЧЕВИДЕЦ

Под вселенский голос вьюги
на диване в темноте
поразмислить на досуге
о Пилате и Христе.

...Как же так! — руками трогать
воздух истины, итог,
в двух шагах стоять от Бога
и не верить, что он — Бог...

Под тенистою маслиной,
на пороге дивных дней,
видеть солнечного сына
и не сделаться светлей!

Отмахнуться... Вымыть руки.
Ах, Пилат, а как же нам
под щемящий голос вьюги
строить в сердце Божий храм?

Нам, не знавшим благодати,
нам, забывшим о Христе,
нам, сидящим в Ленинграде
на диване — в темноте?





ПОКАЯНИЕ

Гласит божественная лира,
нас уводя от суеты:
не сотвори себе кумира,
не искази Творца черты,
уйми гордыню...
Богом данной
душе —
в трудах воздвигни храм!
...Ведь даже звезды,
покаянно,
бледнеют в небе по утрам.





* * *

Присутствую при снегопаде —
последнем, может быть, в судьбе.
Не отвлекайте, Бога ради,
забыть позвольте о себе.

Ловлю холодную снежинку
горячим выступом губы.
Слежу зигзаги и ужимки
венозно вздувшейся тропы.

Очаровательное иго —
снеговращения краткий срок...
Читаю небо, точно книгу,
и Божью милость — между строк.





МЕРТВЫЕ СЛОВА

Мутна была погода,
мертва листва словес:
«лишенец», «враг народа»,
«в расход», «лагпункт», «обрез».

Что вынести Отчизне
пришлось и — для чего?
Лишенец... смысла жизни?
Враг... брата своего?

Слова как брань, как окрик,
как свист хлыста сквозь век:
«гулаг», «рабсила», «контрик»,
«нацмен», «баланда», «зэк»...





ЛЮБИТЕЛЯМ РОССИИ

Как бы мы ни теребили
слово Р у с ь — посредством рта, —
мы России не любили.
Лишь жалели иногда.

Русский дух, как будто чадо,
нянчили в себе, греша,
забывая, что мельчала
в нас — Вселенская душа.

...Плачут реки, стонут пашни,
камни храмов вопиют.
И слепую совесть нашу
хамы под руки ведут.

Если б мы и впрямь любили, —
на святых холмах Москвы
не росло бы столько пыли,
столько всякой трын-травы.

Если б мы на небо косо
не смотрели столько лет, —
не дошло бы до вопроса:
быть России или — нет?

В ней одно нельзя оспирить:
божье, звездное, «ничье» —
ни любителям России,
ни губителям ее!



* * *

Сжигать натруженные нервы,
чтоб первым слыть, а первых... нет.
Они — легенда. Их шедевры
возникли там, за далью лет.

Все было: Библия, Бетховен,
Шекспир, и Рембрандт, и Толстой.
Но и Сальери не виновен,
став спутником, а не звездой.

Увы, не каждое творенье
слывет бессмертным наяву, —
но всем доступно утешенье
в стремленье духа — к божеству!





* * *

О цветке поведал гений, —
слов мерцала ворожба...
В жажде острых ощущений
ошетибилась толпа.

«Как посмел ты петь про пестик
в дни гонений, про пыльцу?!» —
в жажде крови, в жажде мести
говорил народ певцу.

Но молчал он... Лишь медвяно
мысль стекала со струны.
Дни гонений — постоянны.
Дни прозрений — сочтены.





ПУСТЫНЯ

Не то пустыня, что лежит в песках,
где дружат ящерка и черепаха,
где саксаул на скрюченных ногах
танцует в пыльной буре праха.

Не то пустыня, что течет водой
земных морей и океанов,
где чайки мечутся, где рыб косяк густой
и корабли связуют страны.

Не то пустыня, что сияньем звезд
оповещает жителей Вселенной
о том, что в небе есть немало гнезд,
а в них — крупницы вечности нетленной.

Пустыня то, где нет любви уже,
где даже музыка молитв нектати:
она — в твоей измученной душе,
лишенной милости и Божьей благодати.





* * *

Тепло. Внезапную жару
деревья слушают, как выюгу.
Сухие листья на ветру
стучат отходную друг другу.

А по обочинам — полынь,
вегетарьянский запах тленья.
И небывалая теплынь —
как бы включили отопленье.

И в сердце мягко неспроста.
И сквозь грядущие рассветы
восходит лунный лик Христа
в морозном выдохе планеты.





* * *

Дождь молится на крыше,
под полом — мышки смех!
...Меня никто не слышит,
я слышу вся и всех.

С молчащей колокольни
плывет безмолвный звон.
Струится стих крамольный
из сжатых уст, как стон.

Звучащие, провисли
над миром провода,
кипящие в них мысли
ревут, как поезда!

Окуренные ядом,
деревья бьют в набат.
Рыдают реки рядом,
и рыбы в них вопят.

Гудит земля, как бочка,
вздыхают в ней гроба.
И ветра оболочка
скрипит, как кожа лба...

Скулят белки и соли,
трещит озонный щит...
И, ртом в подушку, совесть
вновь по ночам кричит!



СОЛОВЬИ

Вороны, голуби, синицы —
отчетливые существа.

А соловьи — не столько птицы,
сколь — тайна, миф, мечта, молва.

Грачи, воробышки, сороки —
питомцы стай! А соловьи —
особняком. И в кратки сроки
ткнут песнопения свои.

...И в мире, где людские песни
звучат средь фальши и утрат,
есть голоса иных чудесней
и — одиноче во сто крат.

Они вразрез звучат! Без толку
для власть имущих болтунов.

И хоть звучат не слишком долго,
но проникают до основ.





В ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ

Листва полуопала,
экскурсовод толков.
Собор Петра и Павла —
прохлада трех веков.
Высокие могилы,
Петровский саркофаг.
Все каменно-уныло,
все было, да не так...
А во дворе булыжник, —
в лодыжке боль крута!
Вот движется подвижник
желудка-живота.
Вид колокольни постный
и аскетичен дух.
Вот катится апостол
румяных молодух.
На плитах — листья, лужи.
Мечты обнажены.
Вот шествует послушник
ученья сатаны.
Небесный свод распорот,
в прорехе — синева.
Здесь начинался город,
училась жить Нева.
Листва полуопала,
редеют голоса...
Собор Петра и Павла
уходит в небеса.



КРАСНОЕ И БЕЛОЕ

Россия — единое целое.
Но в заспанном сердце ее
то красное вспыхнет, то белое!
То кровное жжет, то — ничье.

За прошлым грядущее гонится, —
приспичило марши играть!
И вот уже красная конница
несется на белую рать.

На что разрешение выпадет —
о том и молчим, и поем.
То кровушка белая выпита,
то кровушку красную пьем.

А ежели драться не велено —
ударимся в сон-тишину...
И вот уже беленьким, беленьким,
как снегом, заносит страну.

...Но, вычерпав время напрасное,
над белым, чью грязь не отмыть,
мы будем оплакивать красное
и маршами душу томить.





СОРОКОУСТ

Какое сказочное слово —
Сорокоуст! Букет из губ.
Не смысла груз, не грусть-основа —
мне строй его музы́ки люб!

Сорокоуст! — рокочет слитно.
Как струны или провода...
Не поминальная молитва,
а Слово, снятое с креста!

Живое, сущее, густое,
колючее — терновый куст,
дыханьем жизни налитое
и — жгучим хладом смертных уст.





ПРИТЧА О ПЕРВОПРИЧИНЕ ЗЛА

Очнулся на больничной койке.
«Дышу! — подумал. — Повезло».
Затем, измученный, но стойкий,
спросил: «Откуда в мире — зло?
А что, — вздохнул, — имею право
спросить: страдал, сбивали с ног, —
война, тюрьма... Любовь-отрава.
И — на краю! И — одинок...
Кто виноват, что я печален?
Что совесть... меньше на размер?
Кто лихоимец? Гитлер, Сталин?!
А может — вовсе Люцифер?
О, где она, первопричина
всех зол земных, владевших мной?»
...И тут расслабленный мужчина
рванулся с койки — в мир иной.
Но в те расстанные мгновенья,
что нам даются, как венец,
ему пригрезилось виденье:
одно из множества сердец...
Все в язвах зависти кислотной,
в рубцах тщеславия, в слезах
неверия, в тоске бесплотной —
оно висело в небесах.
И голос был как запах серы,
как эхо дна — в небесну высь:
«Соль зла в твоём гнездится сердце, —
взгляни в него — и ужаснись».



ТРЕТЬИ

Памяти мирных граждан войны

Участникам войны — почет и ордена,
смерть и бессмертье,
а на долю третьих
(в борьбе сторон — есть третья сторона),
на долю третьих —
лишь ухмылка смерти.

А если — жизнь, то чаще без отца,
без дома, без любви,
с душою инвалида...
Участникам войны,
тем, кто глотнул свинца,
и тем, кто не глотнул, —
и слава, и эгида.

Жить под эгидой подвига — одно.
Жить под опекой ужаса — другое.
Участникам войны завидовать грешно.
А третьим...
Вот ведь дело-то какое.





МУЗЫКА

Касаясь при жизни всего понемногу,
однажды подумать в концертных слезах:
«А все-таки музыка — ниточка к Богу!
Связует! И мы забываем свой страх...»

Веселье прокиснет. И радость прогоркнет.
И сухо на сердце. И холод в глазах.
Но музыка добрые слезы исторгнет!
И чаши качнутся на судных весах.





* * *

Я схоронил свою мечту:
Она во мне, как в темном склепе, —
а ей бы плавать в синем небе,
цедя сквозь зубы высоту!

Я пережил себя в себе.
Тот человек, что звался мною,
стал запредельной тишиною,
росой на ангельской тропе.

Но... я узнал в пучине дня,
в стремнине пешего потока, —
ту, что вскормила грудью Бога!
...С какой печалью и тревогой
она взглянула на меня.





* * *

Блаженны нищие духом...

Лампада над книгой потухла,
а строчки в глазах все ясней:
«Блаженны голодные духом,
взалкавшие правды Моей!»

Сижу в окружении ночи,
читаю в себе письма,
как будто я старец-заточник
и нет в моей келье окна.

Но в сердце — немеркнувший праздник,
и в вечность протянута нить.
И если вдруг солнце погаснет —
все ж Истина будет светить!





Глеб Горбовский с товарищами по сейсморбригаде.
Река Ксепга, Северный Сахалин, 1958.



Я ВЕРНУСЬ

...возвратить поглощенное.

Н. Ф. Федоров

Всего нагляднее — в апреле,
когда из-под одежд зимы
трава — в сиянии и в теле —
в мир возвращается из тьмы.

Так в сердце — на исходе жизни —
в сию копилку снов, гробов,
трещиноватую от истин, —
вдруг возвращается... любовь!

Так на забытую могилу
Цветаевой, где мгла и мох,
второй, наджизненной силой
слетает славы поздний вздох.

...Блажен, кто верит в «небылицы» —
в бессмертье душ, в Святую Русь,
кто, распадаясь на частицы,
с улыбкой мыслит: «Я — вернусь!»

Кто чрез смертельные границы
плывет, как журавлиный клик...
С чьей опаленной плащаницы
к нам проступает Божий лик.





ЖЕРНОВА

Порхов. Остатки плотины. Трава.
Камни торчат из травы — жернова.
Здесь, на Шелони, забыть не дано —
мельница мерно молола зерно.
Мерно и мудро трудилась вода.
Вал рокотал, и вибрировал пол.
Мельник — ржаная торчком борода —
белый, как дух, восходил на престол.
Там, наверху, где дощатый помост,
хлебушком он загружал бункерок
и, осенив свою душу и мозг
знаменьем крестным, — работал урок.
...Мне и тогда, и нередко теперь
мнится под грохот весенней воды:
старая мельница — сумрачный зверь —
все еще дышит, свершая труды.
Слышу, как рушат ее жернова
зерен заморских прельщающий крик.
Так, разрыхляя чужие слова,
в муках рождается русский язык.
Пенятся воды, трепещет каркас,
ось изнывает, припудрена грусть.
Все перемелется — Энгельс и Маркс,
Черчилль и Рузвельт — останется Русь.
Не потому, что для нас она мать, —
просто не выбраны в шахте пласты.
Просто трудней на Голгофу вздымать
восьмиконечные наши кресты.



* * *

Когда устанете глаголить о генсеке,
о беззакониях в Двадцатом веке-зеке, —
вдруг кто-то вспомнит о начале дивной речки,
о человечке — стриженной овечке,
о том, как искренне торжественная туча
над городом плывет, ломая сучья;
о том, как тщательно антенна в поднебесье
усами ловит улетающие песни;
о том, как истово мальчишка лет под сорок
гоняет голубей, поправших город;
о том, как некую тревожили старушку,
что, взорванную, помнила церквушку;
о том, как крест ковали в кузне искрометной
и золотили... солнцем! В час рассветный.





БАБА ДУСЯ

Как выгядит столетие — живьем?
Довольно неприглядно, если верить
своим глазам... Так выгядит проем
в порожнем доме — выломанной двери
или окна. Зияющая скорбь.
...Нет, нет! Все проще. И в изящном вкусе.
Платочек ситцевый, как снег вершинный с гор,
под ним — глаза крестьянки бабы Дуси,
Глаза гядят. И видят. Глубоки.
И все еще синеют в помощь лику,
как меж страниц бессмертных васильки,
заложены в апостольскую книгу.
Под бабушкой, седая от дождей,
завалинка на улице порожней.
Есть улица, и нет на ней людей, —
лишь петушок, поющий все безбожней!
И дельце есть у Дуси: огород.
Но прежде... И, слегка раскрючив спину,
идет к соседке — та уж не встает.
Но вряд ли стоит довершать картину...
Тогда откуда благовест в груди,
не умиление — отблеск благодати?
Как выгядит столетье во плоти?
А так и выгядит, как вылепил Создатель.



НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО

Край неба и звезда
в углу, как на конверте.
Рождение Христа —
спасение от смерти.

Снег. Прошлое. Мороз.
Мир распрямляет спину.
Нельзя смотре́ть без слез
на русскую равнину.

В сугробе, как пенек,
избушка в платье белом.
Но вспыхнул огонек
в окне заиндевелом!

Живи, земля, живи.
Добра сияйте знаки.
Рождение Любви —
прозрение во мраке.

...Ему — с твоей тоской —
быть на кресте распяту.
Тебе — Его рукой —
возжечь в ночи лампаду.





ВРАЗРЕЗ

Барка жизни стала
на большой мели...

А. Блок

Вразрез волнам житейской непогоды,
вразрез теченью общему вещей, —
мы не властям, мы Господу в угоду
тянули лямку барки жизни всей!

В театре жизни знали мы не мозгом,
а знаньем сердца (покаянный труд), —
зачем пришли на шаткие подмости,
куда уйдем, коль занавес дадут...

Во все века, исполненные желчи,
со дней Голгофы, мир людей — тюрьма.
То объявлялся Гоголь сумасшедшим,
то вся Россия — сдвинутой с ума.

Мы пели в хоре, рта не раскрывая.
Сверлили почву, существу вразрез,
чтоб видеть свет сквозь тьму земного рая,
сквозь шар земной — благую синь небес!





БЕЗГЛАГОЛЬНОЕ

Россия. Вольница. Тюрьма.
Храм на бассейне. Вера в слово.
И нет могильного холма
у Гумилева.

Загадка. Горе от ума.
Тюрьма народов. Наций драма.
И нет могильного холма
у Мандельштама.

Терпенье. Длинная зима,
длинней, чем в возрожденье вера...
Но — нет могильного холма
и... у Гомера.

Век суеты короче стал,
догадка зреет в нас:
сбываются пророчества —
грядет расплаты час!

Жизнь выцвела, пока листал
ее ты, в жажде див, —
не так, как Апокалипсис, —
как пошлый детектив.

Не тонет уж тоска в вине.
Страх застит путь к звезде.
И светит лишь Раскаянье!
Хотя бы — на кресте.



«КРЕСТЫ»

На невском берегу торчит сия твердыня.
Багров ее кирпич и камеры глухи.
Коль мимо прохожу,
то кровь в сосудах стынет...
Мать-мачеха вдоль стен, и чахнут лопухи.

Известна всей стране ее архитектура:
крестами корпуса... В глазницах —
сталь ресниц.
Российская тюрьма должна смотреться хмуро,
чтоб всякий, кто взглянул, бежал ее границ.

На той же стороне, на побережье впалом —
еще одна тюрьма, но смотрится светлей:
над нею купола святых Петра и Павла, —
как будто волнорез судьбы России всей!

Луч шпиля на заре собой являет чудо.
И ангел держит крест,
как некий смысл живой...
А в сумрачных «Крестах» есть камера,
откуда
крест виден из окна... В трехсотой, угловой.





ПАДШИЙ АНГЕЛ

Отца не знавшее дитя
с улыбкой мудреца,
дитя невинное, хотя —
во взгляде хитреца.

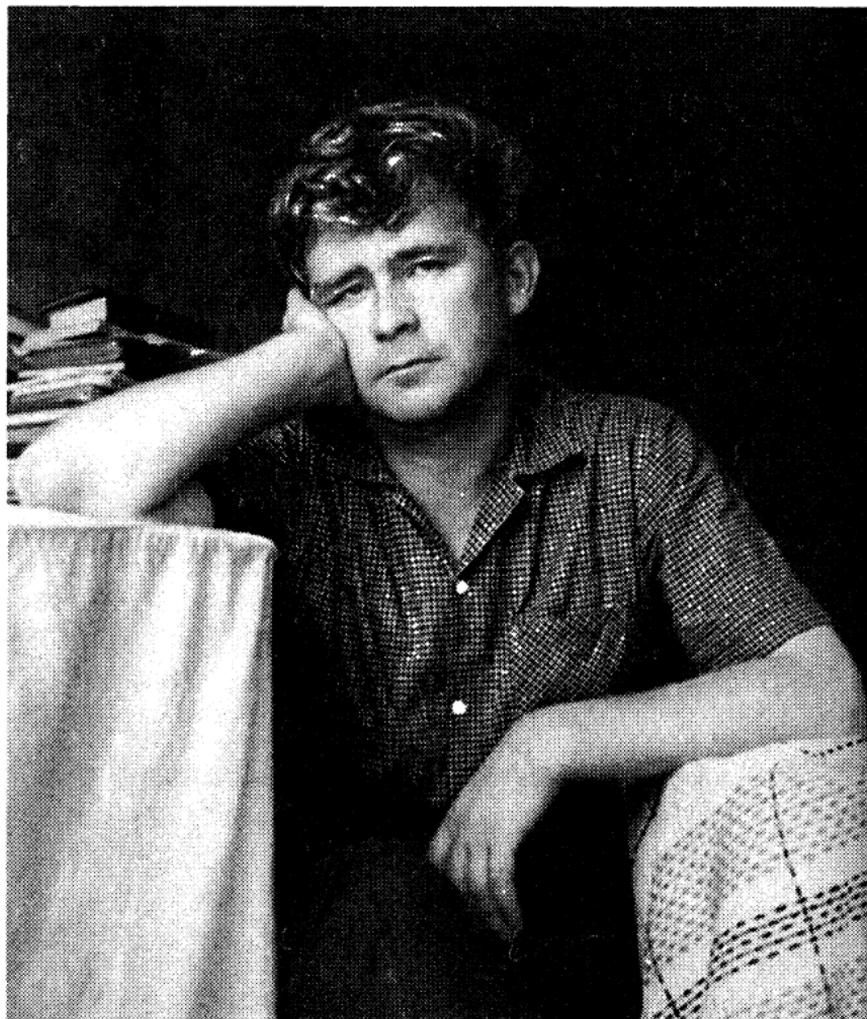
Дитя отведало всего
за свой десяток лет...
А есть ли мама у него?
А мамы тоже нет.

Она сейчас встречает май
одна, прогнав отца.
...Какой же нравственный Мамай
прошел сквозь их сердца!

Ведь даже на огне войны,
где наш горел народ, —
все ж было меньше у страны
изгоев и сирот.

Дитя в одежке продувной.
Мат — из молочных уст!
И горних крыльев за спиной
уже ненужный груз.





Глеб Горбовский на Васильевском острове. 1966.



КВАРТИРА НОМЕР ШЕСТЬ

Из книги «Остывшие следы. Записки литератора»

Теперь, по прошествии не просто лет, но львиной доли судьбы, в назидание молодым поэтам скажу откровенно, бесстрашно: самым вредным, губительным, тлетворным желанием для начинающего поэта является желание как можно скорее опубликовать свои стихи, жажда напечататься. Для шлифующегося таланта (а талант хоть и врожденное свойство, однако развивающееся, оно далеко не алмаз, но — эмбрион), так вот для развивающегося дарования нет ничего более гнетущего, разрушительного, иссушающего, чем желание... славы. Желать должно себе совершенства. И не просто желать, а постоянно его в себе возводить (как себя — в окружающем мире). По кирпичику, по ступеньке, молча и, по возможности, подальше от редакций и всяческих окололитературных соблазнов и соблазнительей. На наших глазах выросла целая плеяда поэтов, чьи имена, чья скандальная репутация, а значит, и участь — жалки. Скандал может обеспечить известностью, даже ославить, но он же способен внести в поэтический организм инфекцию суетливости. В погоне уже не за славой, а за поддержанием ее свечения стихотворец становится своеобразным литературным алкоголиком, для которого глоток паблिसити дороже всех таинств поэтического действия. И наоборот, мы знаем энное количество писательских имен, чей труд в поэзии был для них священным, всепоглощающим, для кого поэзия не идол, а сама вера, на чей

алтарь поставили они, как сумели, свет своих сердец, изъязвленных не столько тщеславием, сколько невозможностью очистить свою поэзию, свое миро-воззрение до идеальной степени.

О конкретных писательских именах — чуть позже. Внутренне подобрев, поуняв характер. А пока что — о себе грешном, о том, каким нравственным уродом, с какой потаенной двуликостью, выпестованной двойной моралью тогдашней лжеидеологии, предстал я пред светлые, но отчетливо страдающие очи Глеба Семенова, всю свою жизнь имевшего склонность помогать начинающим литераторам разбираться в самих себе и в окружающей их обстановке. Глаза его кричали, терзаясь сомнениями, но... кто расслышит глаза? Язык его не мог выговориться, ибо, как и все прочие языки страны, был скован страхом еще не остывшей, хотя и бесспорно издыхавшей эпохи. Сквозь измученный город, приходящий в себя от войны, политических дел, постановлений о журналах, успения вождя, шел заторможенный, как бы пребывающий в шоке 1954 год.

С одной стороны (или с одной головы двуликого Януса), хотелось мне тогда выразить в стихах себя — свои отчаяние, боль, гнев, накопленные за двадцать три года жизни, с другой — попытаться тиснуть, пропечатать стишки (любой пробы!) во что бы то ни стало. «Увидеть свет!» — так это называется, не без проникшего в эту фразу сарказма, ибо что может увидеть слепой котенок, помышляющий (утробой) о кормящем сосце? Магия печатного слова... Для поэта, не обретшего своих убеждений, она воистину губительна. Ибо идешь ты тогда на поводу у властей предержавших, диктующих условия проникновения твоего слова в печать, в и х печать. Другой печати не было и нет. Помимо самиздатовской и — «потусторонней». Нельзя забывать, и прежде всего

человеку, собравшемуся «в поэты», что в его распоряжении не только пресловутая свобода слова, но и нетленная, неотторжимая от его совести свобода мысли. Утратить свободу слова ничего не стоит, утратить свободомыслие — конец всему.

Заняться «потусторонней» литературной деятельностью мне даже в голову тогда не приходило: во-первых, страх; во-вторых, патристический замес в сознании слишком густ. Вновь обретенная после войны-разлуки Родина, любовь к ней, почерпнутая и впитанная из классической литературы, как из крови народа, скитания по истерзанной родимой земле, где каждая живая душа взывала о сострадании, чаще всего безмолвно взывала, — все это не позволило даже думать «в другую сторону», даже мысленно отвернуться от пережитого.

Иное дело — самиздат. Он произрастал как бы сам по себе. Не требовалось особых усилий (в том числе насилий над собой) для его функционирования. Стихи, которые не шли в печать — а поначалу таких было абсолютное большинство, — разлетались, как светящийся пепел от костра на ветру. Эти несеяные стихи как бы сами собой прорастали в жилищах горожан, имевших отношение к поэтическому слову.

Недаром в середине пятидесятых кое-что из моих стихов, а также поэма «Мертвая деревня» фигурировали на судебном процессе, когда за «антисоветскую деятельность» и за связь с иностранцами судили ленинградского писателя Кирилла Косцинского (псевдоним Кирилла Владимировича Успенского), бывшего фронтовика, полковника Советской Армии, спасшего в войну от смертельных «неприятностей» недавнего австрийского канцлера Бруно Крайского. Косцинский написал интересную книгу «Труд войны», изданную в издательстве «Советский писа-

тель». Был он осужден на пять лет мордовских лагерей за то, что сопровождал по городу Ленинграду приехавшего из Штатов тогда еще молодого и не столь известного музыканта, дирижера и композитора, руководителя симфонического оркестра Леонарда Бернстайна. Кирилл Владимирович был рекомендован американцу в негласные гиды, так как владел в совершенстве английским — привилегия бывшего фронтового разведчика, — и жестоко поплатился за проявленное гостеприимство.

Как же попали мои стихи в «дело» Косцинского? У меня рукописей не изымали. Обошлись тогда без ареста и обыска. Просто некоторые вирши ходили по рукам. Привилегия самиздата. Дома у Кирилла Косцинского с удовольствием собирались поэты, особенно неприкаянные, неиздававшиеся и главным образом молодые. С удовольствием еще и потому, что там... кормили. И поили. Блаженствуя и несколько распоясываясь, сочетали фамилию хозяина с главным собором Петербурга: «Косцинский-Исаакий» — шутка поэта Михаила Еремина, предполагавшая некий писуарный смысл, как бы внутреннюю рифму в нелепом словосочетании. И вообще в этом очаровательном доме, заставленном книгами, со стенами, завешанными современной живописью, в этой старинной бескрайней коммуналке с двумя входами у Косцинского можно было встретить кого угодно, даже молодого писателя Валентина Пикуля с огромным романом «Океанский патруль» под мышкой, но чаще всего встретить там можно было радость общения, вкусную выпивку, ласкающие самолюбие оценки твоих поэтических опытов.

Вот ведь, не причисляя Косцинского к своим литературным наставникам, все ж таки не мог обойтись без воспоминаний об этом странном, ни на кого, естественно, не похожем человеке, вечно куда-то то-

ропившемся, подвижном, с лицом рельефным до крайности: большой нос, впадины глаз, худоба лица такая, будто все лишнее из него выбрано стамеской. Работал он в мордовском лагере прозектором, а кончил жизнь от пятого инфаркта, на чужбине, при австрийской пенсии, назначенной ему за оказание помощи гражданам этой страны во время великой битвы народов.

А к Глебу Семенову впервые пришел я не на чайкофий и даже не на литературные посиделки, но — как к лицу официальному, работавшему кем-то в молодежной газете «Смена», куда я принес в чемодане стихи, «предназначенные для печати». Литконсультант газеты Бальдыш, порывшись в чемодане, посоветовал мне учиться у классиков, почему-то именно у Пушкина с Маяковским, из-за которых, как я уже знал, в тридцать восьмом пострадал мой отец. Но... классики классиками, а писатель Бальдыш, не пустивший меня с ходу в печать (за что я ему посмертно благодарен), познакомил мэтра Глеба Семенова с двумя-тремя моими стишками, что и решило мою дальнейшую писчепечатную судьбу.

Моя неотесанность в изящной словесности была безмерна. Приобщить меня к своему поэтическому кружку Глеб Сергеевич не пожелал, но все же не отпихнул напрочь, пожалел, присоветовав обратиться в Дом культуры профтехобразования, к ремесленникам, где кружком «Голос юности» руководил не менее своеобразный человек — Давид Яковлевич Дар.

Это в какой-то мере неформальное общественное «образование», объединявшее юных и не столь юных поэтов и прозаиков, в основном выходцев из рабочей среды, а также студентов техникумов и учащихся ПТУ (тогда — РУ), существует в Ленинграде до сих пор, то есть почти сорок лет, и является настоящим долгожителем среди подобных кружков.

Руководил «Голосом юности» человек маленького роста, напомилавший сказочного тролля или карлика, а по теперешним книжным и мультяшным мирам — и Карлсона, который, правда, жил не где-то на крыше, а в шикарной многокомнатной квартире на Марсовом поле. Хозяйкой квартиры была писательница Вера Федоровна Панова, тогдашняя жена Дара (правильнее сказать: Дар — тогдашний муж Веры Пановой). До сих пор не знаю, что в этом человеке было ярче — внешность или интеллектуальное наполнение? Пожалуй, и то, и другое выглядело для многих неожиданным (для многих, впервые соприкасавшихся с умом и манерами Дара). То есть неожиданен был он при ближайшем рассмотрении, а где-нибудь в толпе, в уличной стремнине, вообще на «подмостках бытия» разглядеть его миниатюрную фигурку не всегда удавалось, особенно случайному, неподготовленному зрителю. Зато уж кто пригляделся к нему — тот понял: в карлике сем и форма, и содержание недюжинны.

Нос картошкой, губчатый, да и все лицо как бы из вулканической пемзы. Длинные волосы, огромный рот, во рту — гигантская трубка, увесистая и постоянно чадающая ароматным трубочным табаком. Дыхание хриплое, астматическое. Движения порывистые, как бы сопротивляющиеся болезни сердца и легких. Речь рассыпчата, невнятна, как бы с природным акцентом, не с акцентом иностранца, а с оттенками пришельца откуда-нибудь с гор, пустыни, словом — из мира одиночества.

Таким вот распевным двустишием, помнится, началась поэма о Пушкинской улице, славившейся до революции своими привокзальными притонами, всевозможными хазами и красными фонариками борделей — сказывалось соседство со знаменитой Лиговкой, «улицей дна», о мазуриках да и вообще о

веселых жителей которой ходили и по сию пору ходят легенды.

Пушкинская коммуналка, где я выменял девятиметровку, хоть и насчитывала шесть или семь самостоятельных семейств, безобразной не выглядела; всего жильцов или съемщиков существовало в ней не более десятка, семьи были компактными, в два-три человека, а в некоторых комнатах — по одному. Впечатление было такое, что все друг другу доводилось родственниками. Обедали, а также играли в шашки и шахматы — на кухне. За общим столом. Там же — выпивали. Мужчины и женщины. С одинаковой неизбежностью. Самой заметной личностью в квартире смотрелся благообразный, еще румяный и сдобный старичок «замедленного действия», передвигавшийся по квартире осторожно и молча в постоянном кухарочном переднике, так как до последних своих дней стряпал на кухне шикарные обеды чуть ли не на весь коммунальный клан. Позже от этих обедов время от времени перепало и мне. И даже моим гостям. Савельич был неподражаем. О нем ходили легенды. В прошлом — высочайшего класса и ранга шеф-повар, руководивший готовкой в лучших ресторанах Петрограда — Ленинграда, овеянный пожухлой славой чуть ли не бывшего царского кухмистера. К восьмидесяти годам сохранил он мужественной свою плоть, взлелеянную отборными харчами и приправами, но утратил дух. А может, его, духа-то, в нем и не было никогда. В достаточном количестве. Старичок имел в квартире жену, тощую даму лет сорока. И я отчетливо различал их семейную идиллию, так как перегородка меж мной и кухмистером была возведена при советской власти.

Там же, в пушкинской коммуналке, проживали бывший спортсмен, чемпион Европы времен нэпа (вид спорта не упоминался за давностью состязаний), бывший моряк, не снимавший тельняшку даже в

бане, а также бывший милиционер из псковских крестьянских детей, к тому времени спившийся и уволенный из органов. Однажды за игрой в шахматы, глядя в уставшие глаза экс-милиционера, сочинил я нехитрую песенку о пропащем постовом, которую спустя тридцать лет услышал, сидя в такси, звучащую с магнитофонной ленты шофера.

У помещенья «Пиво — воды»
стоял непьяный постовой.

Он вышел родом из народа,
как говорится, парень свой.

К проживанию в очередной коммуналке был я хорошо подготовлен. Житейским опытом. Помимо многолюдных барачков, серых и сырых землянок, зловонных камер, пятидесятиместных воинских палаток, десятиместных больничных палат и экспедиционных будок-балков — классическая коммуналка на Малой Подъяческой, затем такая же на 12-й линии, далее — на 9-й и вот еще одна, похоже, последняя — на Пушкинской (не считая конечной коммуналки на одном из кладбищ России).

О том, что коммуналку познал я в достаточной степени и мере, что она отложила на моем «внутреннем мире» свой несмываемый отпечаток, а правильное сказать — свое тавро или клеймо, говорит тот факт, что этому социальному явлению посвятил я немало стихов и даже поэм, одна из которых, «Квартира № 6», была в конце пятидесятых годов весьма популярна среди литературной молодежи и даже ходила в списках. Печатать подобные стихи было трудно, и они, за малым исключением, пролежали до нынешней благословенной поры мертвым грузом.

Существовала договоренность: постоянные посетители моей девятиметровой, чтобы не будоражить воображение жильцов, в дверной звонок не звонили, а бросали в мое окно спичечный коробок, или медную

монетку, или еще что-нибудь по мелочи, благо окно располагалось на доступной, бельэтажной высоте. Причем преимуществом посещения обладали те из пришельцев, кто, посигналив коробком, предъявлял в смотровую щель окна дополнительный пропуск, а именно — торчащую из кармана металлическую «белую головку» бутылочной пробки. В квартире, помимо меня, проживало множество пьющих мужчин и женщин, способных угадывать по глазам и другим признакам — с чем пришел посетитель, и тогда в самый неподходящий, ответственный момент разлития драгоценных капель в дверную щель могла протиснуться посторонняя, дрожащая от алкогольной усталости рука с граненым стаканом уличного происхождения. И нужно было скрепя сердце, с кровью отцеживать в этот стакан пару капель, потому как соседи — живые люди и на их улице бывает праздник и тогда они тоже не скупятся на жертвоприношения. «Торчит сосед, торчит бутылка водки...» — это из рубцовского стихотворения «В гостях», которое он написал, побывав у меня в «салоне».

Там, на Пушкинской в девятиметровой, как в зале ожидания, нередко останавливались приезжие люди из Москвы, Дальнего Востока, Молдавии, черноземного Севера и прочих мест «необъятной родины». Иногда по престольным праздникам, а также в дни чьих-либо рождений в мою девятиметровую набивалось до сорока «стоячих» гостей. Но чаще всего возникал посетитель-одиночка, посетитель-уникум со своими стихами, картинками, молитвами и проектами. Возникая, долго не задерживался, уступая место другим надеждам, другим проектам, иллюзиям.

Мог объявиться веселый человек по имени Темп, по фамилии Смирнов. Темпуля, как все мы его звали. Желтозубый куряка-красавец с Невского про-

спекта, «стиляга» и завсегдатай ресторанов, застенчивый сочинитель юмористических рассказов, о которых ходили слухи, но которых никто из нас не считал, сезонный работник изыскательских экспедиций с греко-римским профилем, несколько припухшим после «вчерашнего», там, у себя на Невском, не скупящийся на захватские жесты и слова и женственно сникающий при слушании посторонних его разуму стихов, погибший на Кольском полуострове при аварии экспедиционного вертолета, когда будто бы пытались подняться в воздух, чтобы сдать десяток ящичков бутылочной стеклотары в ближайшем приемном пункте, а вертолет, едва оторвавшись от земли, рухнул и загорелся (или грозил загореться), и все успели выскочить, кроме замешкавшейся собаки, любимой всеми лаечки, и Темпуля вернулся в дымящуюся машину, и, когда открыл дверь и вошел, — грохнул взрывом топливный бак. Орденов за такие подвиги не дают. А жизнь — отбирают.

Мог наведаться величественно-простодушный, гнусаво-басовитый поэт Евгений Рейн, трезвый и, в отличие от Темпули, насквозь пропитанный текстами изысканной, труднодоступной (жильцам коммуналок) поэзии Запада и российского декаданса, сам слывший к тому времени одаренным стихотворцем, обладавший бурлящим произношением слов, таким медвежьим-косолапым косноязычием; устоявший в пустыне тридцатилетнего непечатания, поддерживаемый пронизательным Евгением Евтушенко и, наконец, издавший книгу своих заиндевелых стихов, как будто внезапно вспомнивший по простествии этих неумолимых глухих десятилетий некий пароль, по которому «пускают» в область литературного признания и процветания.

Швырял свою вопрошающую песчинку в мое окно (за неимением спичек, а значит, и монетки)

вечный скиталец городских чердаков и подвалов, исторический драматург Гера Григорьев, ни одна из пьес которого так и не увидела театральных подмостков, не говоря о журнально-книжных страницах. Гера, окрещенный этим престижным именем кем-то из сомучеников на Невском проспекте, а на самом-то деле не Гера, а всего лишь Георгий, умудрившийся тридцать лет (из пятидесяти) прожить в Ленинграде без прописки, так как не просто любил или обожал этот город, но и буквально не мог без него жить, трижды за эту свою сентиментально-лирическую провинность судимый, прошедший лагеря и тюрьмы, но вот чудо — ни разу не укравший, не обманувший — сохранивший себя неразбавленным, цельным, не опошлившимся на нарах, где, за неимением воздушного (читай духовного) пространства, сочинял не объемные драмы и трагедии, но всего лишь складывал в голове стихи, которые, если их издать, имели бы куда более отчетливый успех, нежели успех доброй половины писательской организации великого города. Города, без которого Гера не мыслил жизни. Гера, имевший внешность стопроцентного цыгана, черно-курчавую шевелюру, карие искрящиеся подспудным, труднообъяснимым весельем глаза, упрятанные в кипящий прищур жизне-радостных морщинок, бесшабашный нос и широчайший, некогда белозубый рот губошлепа-добряка. И прозрачная, а значит, безвредная плутоватость во всем облике, пажитая в гонениях и увертываниях, но абсолютно чуждая его натуре. На днях он опять освободился, отбыв очередной срок, как бы съездив в неизбежную командировку. Позвонил, похвастал свежим паспортом. Договорились встретиться. Я долго размышлял перед нашей встречей, что бы мне такое сказать ему — утешительное и одновременно разумное, действенное (письма в милицию, хожде-

ние к следователю, прошение в Прокуратуру РСФСР и прочие «инстанции» не помогли), а когда встретил его на комаровской платформе — ничего не сказал, только беспомощно ткнулся в его лохматую, излучающую немеркнувшее мужество физиономию и замер на миг, словно машина, избежавшая на дождливом осеннем шоссе столкновения с беззащитным зверем.

Мог оповестить о себе монеткой, и необязательно медной, некто одетый во все заграничное, экстравагантное, в руке подразумевающийся стек или предполагаемая трость — всегда тощий, всегда изящный, всегда юноша — Виктор Соснора. Не теряя королевской осанки и врожденной гусарской выправки, он пройдет через кухню среди играющих в шашки или разливающих ароматную фирменную селянку, замастыренную Савельичем, пройдет, словно сторонний наблюдатель, словно бессмертный Вергилий в Дантовом аду, просквозит, бросив его обитателям что-нибудь отвлеченно-безобидное, вроде: «Будто будет будка Будде, — Будде будет храм на храме, а тебя забудут люди со стихами и вихрами». И никто не оскорбится его выправкой и его фразой, потому что сигналы сии органичны их испускателю, присущи орлиному носу поэта — как бы пришельца из других, более симпатичных, античных времен, совершенно случайно заглянувшего на коммунальный огонек, а на самом-то деле — работавшего на одном из ленинградских заводов слесарем и одновременно изобретавшего восхитительные рифмы и ритмы, напоминающие разговор инопланетян, оставшихся на земле по доброй воле, то есть — возлюбивших земные красоты и обычаи.

На пару с юным художником, будущим поэтом Олежкой Григорьевым, как Гомер с поводырем, мог пожаловать художник, будущий прозаик Виктор Го-

лявкин, автор знаменитого лозунга «Привет вам, птицы!», писавший в то время языком нарочитого примитива короткие рассказы, не чуждые невинного эпатажа и дурашливого парадокса, которые именовал птичьим словом «скирли», и в то время окончательно еще не решивший, быть ему живописцем (заканчивал Академию художеств) или пере-квалифицироваться в писатели, причем не в «замечательные детские», что с ним в итоге и произошло, а в писатели бальзаковского масштаба, так как всем и каждому на полном серьезе заявлял тогда, что пишет свою «Человеческую комедию» двадцатого века, что написано-де уже больше половины и что получается намного интереснее, нежели у французского классика. До того как была задумана «Человеческая комедия», Виктор Голявкин не менее серьезно занимался боксом, был чемпионом города Баку, имел мощную шею, массивный корпус и «отбивное», без признаков художественной утонченности лицо, что не мешало ему ненавязчиво, хотя и постоянно, в разумной мере интеллигентно острить; тем самым создавалось впечатление, что разум этого человека помещен создателем в некий иронический рассол и, плавая в нем, насквозь пропитался изящным сарказмом. Люди, подобные Голявкину и Олегу Григорьеву, долгое время как бы не жили, а — шутили. Год шутили, два, десять... И вдруг — не смешно. И тогда Голявкин написал чудесную повесть, умную и теплую, серьезную и ласковую — «Мой добрый папа». А неизрасходованные запасы юмора плюс боксерская закалка помогали и помогают ему выстоять в приливные часы отчаяния. Однажды, когда от прежнего веселья, похоже, ничего уже не осталось, Голявкин, сам того не предполагая, весьма позабавил поклонников своего таланта, да и не только их. В журнале «Аврора», в самый разгар «дремотно-во-

ровской» эпохи, в дни, когда отмечалось семидесятипятилетие Брежнева, напечатали рассказ Виктора Голявкина «Юбилейная речь» — из прежних голявкинских весьма «насмешливых» запасов. Внешне, то есть в отрыве от государственного юбилея, рассказ сам по себе совершенно невинный. Типичная придурковатая невнятица «примитивного» Голявкина, где речь идет о каком-то псевдописателе, продукте эпохи. Рассказ как рассказ. И вдруг — снимают с должности главного редактора журнала Глеба Горышина, вдруг — шум, шорох, шепот и гомерический смех в окололитературной среде, а в «высоких сферах» — форменный переполох. И смотрите, дескать, как все хитроумно сработано: семьдесят пять лет главному юбиляру, чей портрет на обороте обложки, а сам рассказ — на семьдесят пятой странице и называется «Юбилейная речь», тогда как всем известно, что главный юбиляр выпустил очередную книгу, получил за нее Ленинскую премию и вступил в Союз писателей... Заглянем в рассказ: что в нем? А в нем, ясное дело, юмор. Хоть и не злая, но — ирония и застарелый лирический сарказм. На птичьем языке скирли. То есть все то, что делало голявкинскую прозу неповторимо забавной.

«Трудно представить себе, что этот чудесный писатель жив. Не верится, что он ходит по улицам вместе с нами. Кажется, будто он умер. Ведь он написал столько книг. Любой человек, написав столько книг, давно бы лежал в могиле... Ведь Бальзак, Достоевский, Толстой давно на том свете, как и другие великие классики. Его место там, рядом с ними... Ему поставят огромный памятник... Могилу его обнесут решеткой...

Позавчера я услышал, что он скончался...

— Наконец-то, — воскликнул я, — он займет свое место в литературе.

Радость была преждевременна. Но я думаю, долго нам не придется ждать...»

Там же, на 75-й странице, рисунок: могила с крестом... Могильная ограда, за которой торчит черное голое дерево с гнездом на вершине. А в гнезде — Пегас...

Безо всякой натуги мог бы я теперь составить отдельную книгу из одних только кратких описаний многочисленных визитов, нанесенных мне замечательными людьми в момент (длиною в пять лет), когда проживал я на Пушкинской улице в девятиметровом «зале ожидания». Если кто-то из читателей решит, что бросание спичечного коробка в окно — всего лишь литературный прием, скажу: ничего подобного. Значит, неубедительно рассказываю, только и всего. Десятки, многие десятки людей-друзей забредали тогда ко мне на огонек. Не то что теперь, когда поколение мое, так сказать, остепенилось. Некоторые дарили себя однажды. Какая-то группа гостей — постоянно. Не все бросали именно коробок или монетку. Взлетали к небу и другие предметы, оказавшиеся под рукой, например, кепки, пробки, отрывки яблок. Иные из прихожан предпочитали подавать голос, крича в колодце двора: «Гле-еб!» И мощное эхо уносило этот прозаический блеющий звук в блистающие или морозящие дождем выси небесные. Не правда ли, красиво? И — щедро. Такое не забывается.

Самым популярным двустушием в «зале ожидания» на Пушкинской, в его девятиметровом «дупле» (так была прозвана комната гостями), звучавшим как пароль, как девиз, как поговорка, служили нам строчки турецкого поэта Назыма Хикмета: «Если они не дают нам петь, значит — боятся нас!» Чуть реже повторялись две строчки Веры Инбер: «Мы, конечно,

умрем, но это — потом, как-нибудь, в выходной день». Повторялись, несмотря на то, что пожилая поэтесса перед этим «зарубила» первую стихотворную рукопись хозяина «дупла», начертав на ее страницах многочисленные фразы вроде: «Это философия 1912 года!» Склонялась и всем известная эпиграмма на поэтессу: «Ах, у Инбер...» и т. д. Почти каждый божий день восторженно декламировались блоковские «Поэты» («За городом вырос пустынный квартал...»), цветаевский «Письменный стол» («Вас положат на обеденный, а меня — на письменный...»), что-нибудь из лирики Маяковского («А если не буду понят страной...» или «Вот и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова...»), гумилевский «Заблудившийся трамвай» («Остановите, вагоновожатый, остановите скорее вагон!»), что-нибудь пастернаковское («Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?»), тютчевское («Молчи, скрывайся и таи...»), обэриутовское («Голубая рыбка, жареный карась, где твоя улыбка, что была вчера?»), слегка отредактированное есенинское («Что ты смотришь так синими брызгами, али в морду хошь? В огород бы тебя на чучело, пугать ворон!»), даже — из Безыменского («Жила бы Совреспублика, а мы то проживем!»). И уж всенепременно, с затаенной бравадой — из Хлебникова, из «поэта для поэтов», но — понятное, вроде: «Эй, молодчики-купчики, ветерок в голове! В пугачевском тулупчике я иду по Москве!» Из уст в уста ходили модные словечки. Одним из самых популярных, а потому и застрявших в памяти оказалось тогда иностранное словечко из разряда научных — «сублимировать». И чаще всех в паре с глаголом «функционировать» нажимал на это словечко Миша Кулаков. Он и вел себя соответственно, демонстрируя непредсказуемые превра-

щения из одного состояния, скажем, благодушия, прямиком в другое — в остервенение, минуя промежуточную сосредоточенность. Модным было тогда и словечко «супрематизм», изобретенное художником Казимиром Малевичем на заре века, которое мы вворачивали в разговорную речь для доказательства «лихости» интеллекта.

В «дупле» до поры до времени, покуда ей не переломили позвоночник, имелась семиструнная гитара. Под нее пели «авторские» шлягеры того времени: «Стою себе на месте, держусь я за карман, и тут ко мне подходит...», или Окуджавины «Шарик улетел», «Она по проволоке ходила...», или белогвардейски-дальневосточную «Лягут синие рельсы от Москвы до Шанси», магаданскую «Будь проклята ты, Колыма...», «Когда качаются фонарики ночные...», и вдруг, благоговейно, как становясь на молитву, где-то даже картинно: «Выхожу один я на дорогу...».

Годы, проведенные на Пушкинской улице, всплывают в памяти как самые многолюдные, разноголодые, восторженно-обреченные, великодушные, откровенные, суматошные и одновременно успешные, потому что тогда писались стихи, нужные людям, отвечавшие настроению эпохи; в залах, где мы читали эти стихи, нам не просто аплодировали, за нас держались, как за идущих впереди.

Обстоятельства сложились таким образом, что институтского образования я не получил, в студентах никогда не значился, «моими университетами» было общение с людьми, и одним из своеобразнейших факультетов считаю житие на Пушкинской. Случалось, что и там писались светлые и даже восторженные стихи, видимо, потому, что и туда время от времени на огонек забредала Ее Величество Лю-

бовь, но, как правило, стихи Пушкинской улицы не отличались умильным благодушием, да и откуда ему было взяться? Вот характерные ритмы той поры.

А я живу в своем гробу.
Табачный дым летит в трубу.
Окурки по полу снуют.
Соседи счастье куют!
Их наковальня так звонка,
победоносна и груба,
что грусть струится, как мука,
из трещин моего гроба.
Мой гроб оклеен изнутри
газетой «Правда»... О, нора!
Держу всеобщее пари,
что смерть наступит до утра,
до наковальни, до борьбы,
до излияния в клозет...
Ласкает каменные лбы
поветрие дневных газет.

Хотелось бы назвать поименно всех, кто вместе со мной кормил свое сердце надеждой на лучшие дни и годы, кто рядом со мной не просто унывал, томился безвременьем и, казалось, безысходной печалью духа, но, прорастая сквозь эти обманувшие наши надежды шестидесятые, продолжал не только мыслить в своем направлении, но и любить, прощать, верить — в направлении бездонных небесных высот, всех скорбей и радостей, всех предстоящих свиданий с премудростями Бытия. Но... «иных уж нет, а те далече», да и память, как решето, многое порастрясла. Однако лица вспыхивают, обозначаются все контрастней, отчетливей, и хочется поскорее зафиксировать изображение, чтобы оно не потускнело, не потерялось, вызванное как бы из небытия, не распрощалось с тобой, и кто знает, может, на этот раз навсегда.

Вижу кричащее болью одиночества, преждевре-

менно изможденное ребячье лицо прозаика Рида Грачева (Вите), эрудита и умницы, бредившего сочинениями француза Экзюпери, переводившего и комментировавшего прозу этого поэта-летчика, Рида Грачева, успевшего издать тонюсенькую (три четверти из представленного им в редакцию было изъято «блустителями духа») книжечку выстрадавших рассказов и в дальнейшем якобы заболевшего душевно, а точнее — не перенесшего надругательства над разумом, Рида Грачева, которому было посвящено вышеприведенное стихотворение «А я живу в своем гробу...» не потому только, что он, как и я, жил тогда в крошечной комнатенке, торча занозой или бельмом в глазу у всех нормальных, твердых душой обитателей коммуналки, но еще и потому, что он, Рид Грачев, попав под молох «религии рационализма» и корчась на общественной наковальне, был безжалостно расплюсчен: слишком хрупкой оказалась конструкция сего насмешливого в фантазиях мечтателя, над которым насмеялась действительность, объявив душевномятущегося — душевнобольным. Последняя встреча с этим человеком была у меня... в сумасшедшем доме, куда я попал с белой горячкой. Как сейчас помню: по коридору бывшей женской тюрьмы идет мне навстречу Рид Грачев и, несмотря ни на что, улыбается. Не мне — всему миру.

Дима Бобышев, Костя Кузьминский, Вова Марамзин, Игорь Ефимов, Леша Хвостенко... Обозначил ряд имен и спохватился: где эти люди? Неужто умерли все? Почему не вижу их столькие годы? Ни в городе, ни в деревне. Так ведь они все уехали, улетели. Будто птицы по осени. Только не на юг. На запад. Веселые были ребята. Вот и не захотели стать грустными, лететь вниз головой — в глубь земли, как Саша Морев — в ствол шахты. Не пожелали.

Да и не каждому даны такие способности — лететь вглубь...

А вот, скажем, Боря Тайгин — не улетел. Ни вглубь, ни вкось. Уцелел. Сдюжил. Смирил гордыню. Остался жить у себя на Васильевском острове. Недалеке от Смоленского кладбища. Удивительно стойкий, хоть и не оловянный солдатик, этот Боря Тайгин, принявший отпущенные судьбой муки и радости с улыбкой ребенка, а не с ухмылкой закаленного в коммунальных битвах стратотерпца. Известно, что зло в человеке — это болезнь, тогда как добро — норма. Зло в себе необходимо лечить каждодневно, ежесекундно. Но есть люди, к которым эта хворь как бы не пристаёт. У них — иммунитет. Мне думается, что Боря Тайгин из этого ряда неподверженных. В старину их именовали блаженными. В наше время тем же словом их не именуют, а обзывают. Такие люди уникальны. Но — не единичны. Скажем, в Москве — Юра Паркаев... Но о нем — в «москвской» книге. А сейчас о василеостровце Тайгине.

Вот уж кто всегда любил поэтическое слово, и не только любил, но и любит, но и служит ему бескорыстно по сию пору, поклоняется и преклоняется, и хоть сам пишет стихи — никто или почти никто про это не знает. Пишет, как молится, по ночам. Во времена, когда молиться днем было небезопасно. И стихи у Бори Тайгина есть красивые. Но все они — потаенные. Как невидимые миру слезы.

А ради стихов своих товарищей Боря Тайгин, можно сказать, шел на костер, то есть — на известный риск быть взятым под стражу. Вообще-то Борина подлинная фамилия — Павлинов, но ради поэтического слова не пожалел он, как говорится, своего имени и после лагерной отбывки в глухих сибирских лесах принял фамилию Тайгин, как бы совершил поэтический постриг. А посадили его за то, что

делал самодельные граммофонные пластинки, было такое выражение после войны — «музыка на ребрах», то есть на пленке рентгеновских снимков. И еще за то, что... издавал стихи своих друзей тиражом в пять экземпляров — ровно столько, сколько брала за «один присест» его старенькая, дореволюционная пишмашинка «Ремингтон».

Отбыв четыре года в лагерях, Боря не сделался хулиганом или вором, крикливым блатняжкой, он как был поэтом, так им и остался. Еще до принятия окончательной фамилии-сана Тайгин, то есть до отсидки, писал он стихи под псевдонимом Всеволод Бульварный, с неизменным добавлением к «сану» — «лирик-утопист». Должно быть, из протеста и самоутверждения. А первую книжечку своих стихов назвал по-киплинговски решительно — «Асфальтовые джунгли».

А в «бурной действительности» Борис Тайгин продолжал водить по ночным улицам Ленинграда грузовой трамвай, работая вагоновожатым.

Борис Тайгин издавал стихи своих сверстников, и зачастую только его самиздатскими страницами ограничивалась жизнь этих стихов. Почти все написанное мной за годы, когда я не печатался совсем или печатался не слишком часто, более тридцати миниатюрных сборничков — издания «Бе-Та». Но, пожалуй, самое замечательное произошло со сборником Николая Рубцова «Волны и скалы», тоже увидевшим свет в издательстве Тайгина и нигде более. Рубцов представил книжку вместо рукописи, когда поступал в Литературный институт, и многие, глядя на обложку сборника, решили, что в руках абитуриента государственное издание — столь искусна была имитация шрифтового набора на обложке. Об этом тайгинском сборнике ранних стихов Н. Рубцова пишут уже в официальных трудах, посвященных твор-

честву замечательного стихотворца, который не раз бывал у меня на Пушкинской и даже посвятил тамошним дворам и квартирным трущобам одно из ярчайших своих (и редчайших) городских стихотворений, редчайших, потому что лирику Рубцова никак нельзя назвать городской, хотя и сугубо деревенской — тоже.

Трущобный двор, фигура на углу,
Мерещится, что это — Достоевский...

Нельзя сказать, чтобы Николай Рубцов в Ленинграде выглядел приезжим чужаком или душевным сироткой. Внешне он держался независимо, чего не скажешь о чувствах, скрывавшихся под вынужденным умением постоять за себя на людях, умением, приобретенным в детдомовских стенах послевоенной вологодчины, в морских кубриках тралфлота и военно-морской службы, а также в общаге у Кировского завода, где он тогда работал шихтовщиком, то есть имел дело с холодным, ржавым металлом, идущим на переплавку. Коля Рубцов, внешне миниатюрный, изящный, под грузчицкой робой имел удивительно крепкое, мускулистое тело. Бывая навеселе, то есть по пьяному делу, когда никого, кроме нас двоих, в «дупле» не было, мы не раз схватывались с ним бороться, и я, который был гораздо тяжелее Николая, неоднократно летал в «партер». Рубцов не любил заставлять у меня кого-либо из ленинградских поэтов, все они казались ему декадентами, модернистами (из тех, кто ходил ко мне), пишущими от ума кривляками. Все они — люди, как правило, с высшим образованием, завзятые эрудиты — невольно отпугивали выходца «из низов», и когда Николай вдруг узнал, что я — недоучка и в какой-то мере скиталец, бродяга, то проникся ко мне искренним уважением. Не из солидарности неуча к неучу (в

дальнейшем он закончил Литинститут), а из солидарности неприкаянных, причем неприкаянных сызмальства.

Зато, обнаружив кого-либо из «декадентов», сидел, внутренне сжавшись, с едва цветущей на губах полуулыбкой, наблюдал, но не принимал участия и как-то мучительно медленно, словно из липкого меса, выбирался из комнаты, виновато и одновременно обиженно склоняя голову на ходу и пряча глаза. А иной раз — шумел. Под настроение. И голос его тогда неестественно звенел. Читал стихи, и невольно интонация чтения принимала оборонительно-обвинительный характер. Занимался Николай в литературном объединении «Нарвская застава», там же, где и Саша Морев, Толя Домашев, Эдик Шнейдерман (о котором в стихотворении Рубцова «Эх, коня б да удаль Азамата...» в строчках «...мимо окон Эдика и Глеба, мимо криков: «Это же — Рубцов!»»). И здесь необходимо сказать, что тогдашний Рубцов — это совсем не тот, что Рубцов нынешний, хрестоматийный, и даже не тот, явившийся в Вологду напрямик из Москвы, по отбытии лет в Литературном институте. Питерский Рубцов как поэт еще только просматривался и присматривался, прислушивался к хору собратьев, а главное — к себе, живя настороженно внутренне и снаружи скованно, словно боялся пропустить и не слышать некий голос, который вскоре позовет его служить словом, служить тем верховным смыслом и значениям, что накапливались в душе поэта с детских (без нежности детства) лет и переполняли ему сердце любовью к родимому краю, любовью к жизни, терзающую боль разлуки с которой он уже ощутил на пороге духовной зрелости.

Помню, как приехал он из Москвы, уже обучаясь в Литинституте, и, казалось, ни с того ни с сего

завел разговор о тщете нашего литературного труда, наших эстетических потуг, о невозможности что-либо найти, или осветить, или доказать поэтическим словом в наши столь равнодушные ко всему трепетному, иррациональному времена, времена выживания, а не созерцания и восторга. «Ну зачем, кому теперь нужна вся эта наша несчастная писанина?» — спрашивал Коля, одновременно с чрезвычайной настороженностью всматриваясь в меня, в мои глаза, движение губ, жесты рук: не совру ли, не отмахнусь ли от поставленного вопроса, не слушаю ли и тем самым не обману ли его ожидания, нуждающиеся в каких-то подтверждениях? А я, помнится, и сам тогда был не в духе, болел от вчерашнего переутомления, и на Колины сомнения ответил какой-то резкостью, потому что не поверил в искренность его сомнений, а решил, что Рубцов, подавшийся в Москву, набивается теперь на комплименты и уговоры остаться на поэтическом пути «ради всего святого» и тому подобное. И предложил ему что-то литературно-расхожее, вроде: можешь не писать — не пиши. А Коля, теперь-то я понимаю, оказывается, был на своеобразном мировоззренческом распутье: в Литинституте он насмотрелся на конъюнктурщиков от стихоплетства, в Ленинграде — на всевозможных искусников и экстремистов от пера, и не то чтобы не знал, что ему дальше делать, а, видимо, еще раз хотел убедиться, увериться, что путь через Тютчева и Фета — то есть не столько через прошедшее, минувшее, сколько через вечное, истинное — избран им правильно, путь как средство, единственно утверждающее его в правах российского стихотворца.

В Ленинграде, примерно тогда же или чуть раньше, прошел своеобразный, единственный в своем роде, а потому запомнившийся на долгие годы Турнир Поэтов. Не помню, кто организовал его во Дворце

культуры Горького, чья конкретно заслуга, что под одной крышей на целый вечер собрались тогда все лучшие молодые поэты Ленинграда. Но... собрались. Как в какие-нибудь послереволюционные, двадцатые, в эпоху «Бродячей собаки».

Выступали поэты всех направлений и крайностей, интеллектуалы и «социалы», формалисты-фокусники и натуралисты-органики — такие, как Евгений Рейн и Леонид Агеев, Владимир Уфлянд и Олег Тарутин, Иосиф Бродский и Николай Рубцов, Дмитрий Бобышев и Саша Морев, Александр Кушнер и Виктор Соснора, Михаил Еремин и Яков Гордин, Герман Сабуров и Глеб Горбовский, и еще, и еще, и весь зал, как какой-нибудь итальянский парламент, делился на эксцентрические секторы и секции, аплодируя локально, выборочно, то есть тому или иному направлению в стихописании. Чем-то прелестным, наивно-восторженным пахнуло от этого кипящего и бурлящего мыслями и образами, ритмами и претензиями сборища, повеяло чем-то давним, утраченным, казалось, безвозвратно и вместе с тем вечным, непреходящим, в том числе и заключающим в себе ответ на рубцовские сомнения: нужны ли кому наши поэтические потуги? Нужны, нужны. И не только поэтам пишущим, но и поэтам читающим. Ибо мятущаяся мысль юных мечтателей и философов, а также образная вязь художников, изобразителей всех времен и народов растворена в самих этих народах, и отменить или запретить бие-ние их пульса никто не вправе. Да и не в силах.

О поэтическом братстве того времени говорит и тот факт, что все участники Турнира Поэтов рано или поздно «пересекались» у меня на Пушкинской. Одни — чаще, другие — реже, но все мы бывали друг у друга. И не только участники турнира. Андрей Битов и Юра Шигашов, Володя Бахтин и Борис

Вахтин (сын Веры Пановой), Давид Дар и Глеб Семенов, Игорь Ефимов и Кирилл Косцинский, Владимир Максимов и Владимир Марамзин, Владимир Британишский и Саша Кушнер, и Штейнберги, Штейнберги... Даже Станислав Куняев наведалься как-то из Москвы или оттуда, где он тогда обитал. А вот Иосифа Бродского у себя почти не помню, хотя наверняка заглядывал и он. У Бродского был свой круг друзей, свое «дупло» имелось.

Гораздо позже, где-то перед самым приездом в Россию американского президента Никсона и перед самым отъездом-выдворением из России в Америку поэта Иосифа Бродского, заглянул я в очередной раз на улицу Пестеля, где рядом с действующей православной церковью Преображения жил будущий нобелевский лауреат. Мне тогда срочно потребовалось прийти в душевное (а также вестибулярное) равновесие, а ресурсы для оной цели оказались исчерпанными, а все средства, ведущие к немедленному исполнению желания (к преобразению чисто физиологического свойства), использованными. И тогда, очутившись на Литейном, с секунду поозиравшись и с полсекунды поколебавшись, решил я подняться к Бродскому, чье окно, расположенное в «фонаре» старинного многоэтажного дома, призывно мерцало, ничего, кстати, существенного не обещающая, ибо сам Иосиф жил крайне бедно, официальные организации стихов его не только не печатали, но и как бы не терпели, о чем говорит тогдашнее гнусное распоряжение — объявить поэта тунеядцем, судить и выслать его из сиятельного города в промозглую глушь. К моменту, когда я решил небескорыстно навестить Иосифа, поэт из вынужденных дебрей уже вернулся, мы с ним уже неоднократно виделись и наши с ним стихи были напечатаны где-то в Италии — под одной обложкой сборника рус-

скоязычных поэтов. У Бродского в «фонаре» обнаружил я тогда еще одного неперемного участника подобных западноевропейского производства стихотворных сборников, а именно — Сашу Кушнера. И сразу понял, что визит мой, деликатно выражаясь, некстати и что вообще о своем явлении все-таки необходимо предупредить заранее и т. п.

Ребята сидели при моем появлении скованно, как птицы на жердочках. Я и не знал, что они... прощались. Перед отбытием Иосифа на другую сторону планеты. Вдруг показалось, да и по сию пору сохранилось такое впечатление, что «фонарь», в котором все мы сидели в тот миг, походил на клетку с птицами, которые неожиданно оказались певчими, неожиданно для обладателей клетки, и что птицы поют, но песни их далеко не всем нравятся, тем паче — ласкают слух.

Что же касается «восстановления равновесия» — на бутылку вина мы тогда, все трое, определенно наскребли. Но распивать ее направился я один — в ближайший парадник. И не потому, что мной пренебрегли или побрезговали, а потому, что в атмосфере «фонаря» назревали события более масштабные и непоправимые. В птичьих сердцах бушевала тревога земной, прижизненной разлуки с городом, улицей, «фонарем», почти такой же непоправимой, как и разлука со всем пространством жизни. К тому же в ресторане «Волхов», расположенном под соседним зданием на Литейном проспекте, обитатели «фонаря» предполагали в ближайшие часы организовать скромную отвальную, а значит, и в отношении собственного «равновесия» все у них было впереди.

И вот сегодня, ближе к вечеру, когда я осваивал эти страницы «Записок», после почти двадцатилетнего перерыва я вновь увидел Бродского живым — все таким же нервным, грассирующим, улыбчато-

настороженным, с остатками рыжих волос на как бы располневшей голове. Бродского «давали» по телевидению в программе «Взгляд». Нажал кнопку приемника, и... вот он, Иосиф, словно и не было меж этим нажатием и нажатием тем (кнопки звонка в его дверь на улице Пестеля) — двадцати лет. И первое, на чем я себя поймал, это улыбка, раздвинувшая мне губы, ответная улыбка Иосифа. И тут же подумалось: «А хорошо все-таки кончилось! С Бродским, и вообще... Выстояли. При жизни. Разве — не милость? Разве — не свет? Перед очередным затемнением...»

Примерно тогда же (перед отъездом Бродского в Штаты) состоялось между нами (Кушнер, Бродский, Соснора, я) как между стихотворцами — отчуждение. Произошло как бы негласное отлучение меня от клана «чистых поэтов», от его авангарда, тогда как прежде почти дружили, дружили несмотря на то, что изначально в своей писанине был я весьма и весьма чужероден творчеству этих высокоодаренных умельцев поэтического цеха. Прежнее протестантство мое выражалось для них скорей всего в неприкаянности постесенинского лирического бродяги, в аполитичном, стихийно-органическом эгоцентризме, в направленном, нетрезвого происхождения словесном экстремизме, с которым рано или поздно приходилось расставаться, так как душевность моя неизбежно смягчала, предпочитая «реакционную» закоснелую службу лада и смирения расчетливо-новаторской службе конфронтации и мировоззренческой смуты.

Правда, моему не всегда деликатному стуку во врата поэтического храма и прежде не все доверяли — как «официальные органы», так и негласные хранители поэтического огня в стране. Оглядываясь теперь с улыбкой, вижу, как производились над

«поэтическим веществом» моего изготовления умозрительные и литературоведческие анализы, как наводились символические справки, составлялись консилиумы мнений: дескать, а есть ли вообще повод-причина для размышлений, не блеф ли — вся эта «поэтическая конструкция», занимающая у бедных интеллигентов трояки, а то и сдающая во утолении жажды их послепраздничную стеклотару?

В негласных экспертизах и расследованиях принимали участие тогдашние литературные спецы от поэзии — такие, как Ефим Эткинд, Наум Берковский, Виктор Мануйлов, Тамара Хмельницкая, Владимир Орлов, профессор Максимов, профессор Борис Бурсов. Привели меня в дом и к Л. Я. Гинзбург, которую я напугал, а вернее — шокировал, показали «лицом к лицу» Анне Андреевне Ахматовой, Борису Слуцкому и даже Евгению Евтушенко. Кое-что из прогнозов, как ни странно, подтвердилось, а кое-что — развеялось. Что и следовало ожидать. Смешно? Пожалуй. Никто, понятное дело, не собирался делать из меня подопытного кролика. Тогда что же — мания преследования? С моей-то стороны? Ее симптомы? Что ж. Хотя почему бы и не мания очищения? Мания освобождения от себя прежнего, безбожного, беспозвоночного?

По телевидению как-то показывали встречу редколлегии журнала «Нева» с читательской аудиторией одного ленинградского научного института, и я, не вылезаящий из своего многомесячного деревенского добровольного отчуждения, с жадностью наблюдал эту встречу, тем более что за столом «президиума» сидели хорошо знакомые мне замечательные люди — писатель Виктор Конецкий, поэт Александр Кушнер, главный редактор «Невы» Борис Никольский, прозаик Житинский, сатирик Мишин, а также известный писатель из Москвы В. Дудин-

цев, автор давнишнего нашумевшего романа «Не хлебом едины», отдавший «Неве» свой новый роман «Белые одежды». Разговор писателей с читателями, как всегда, напоминал разговор двух иноязычных граждан, к тому же тугоухих и подслеповатых. К проблемам друг друга. Никакого пресловутого взаимопонимания в зале и в помине не было. Хотя всех присутствующих как бы объединяла одна общая идея.

Что ж, думал я, поджав губы от бессилия и невозможности вмешаться в беседу, с жадностью наблюдая за происходящим на экране садоводческого, «списанного» телека, что ж — борьба мнений, расстановка акцентов, неистребимая жажда конфронтации — все это закономерно, присуще, свершается все как бы по извечному сценарию противостояния двух сакраментальных сил — добра и зла. Тогда почему я волнуюсь, с какой стати потерянно озираюсь, будто повинен в нелепой разобщенности людей, не имеющих возможности покорно обнять друг друга и, отрешась от гордыни, простить разом все, а о себе грешном — забыть поскорее? Не тут-то было! И волнуюсь я оттого, что сам живу телесно, плотоядно, что сам не отрешился, не простил, не очистился, хотя и пожелал очищения, как, скажем, через час пожелаю... чаю. Сделал в направлении раскаяния каких-нибудь полшага. А разволновался — на целую милю. И не оттого ли разволновался, что смотрю на происходящее как бы из прошлого, а точнее — из небытия? На экране все тот же Саша Кушнер, только какой-то приободрившийся, отказывающийся в пользу перестройки от чтения лирики, приветствующий перемены в стране, какой-то, я бы сказал, незнакомый, деловитый, гражданственный Кушнер, гневный на тех, кто в прошлом обвинял его поэзию в камерности, призывающий в свидетели собственной

социальности Мандельштама и Пастернака, нападающий на огорошенного Дудинцева, имевшего неосторожность заявить, что Раевский в «Войне и мире» Л. Толстого подставлял под огонь вражеских батарей своих кровных сыночков, на что Кушнер стал выговаривать Дудинцеву горячо, гневно — всё-де это басни, мифы и легенда — о сыночках Раевского, а на самом-то деле никто добровольно под вражеские пули и осколки снарядов никого не подставлял и что версия Толстого на его писательской совести, и старик Дудинцев вжал голову в плечи, притих, был смят, и захотелось крикнуть Саше Кушнеру: помилосердствуй, пожалей старика!.. А на экране редактор объявляет, что в числе предстоящих публикаций в журнале будут обнародованы документы приснопамятного процесса, когда в Ленинграде судили Иосифа Бродского за тунеядство. Словом, ничто достойное восхищения не исчезает в этом мире бесследно, рукописи не горят, тем паче — истинная поэзия, и что никакой такой непоправимой разлуки в поэтическом «фонаре»-клетке на улице Пестеля много лет тому назад не происходило, просто вышли все из того времени малость проветриться — и опять все стало на место. А может, и впрямь — ничего не было? Ни жертвенного трояка никто не вручал и никакое дрянное винцо в параднике не распивалось?

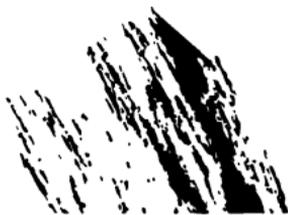
Я пишу эти строчки в десяти метрах от сельского кладбища, на котором примерно раз в месяц когонибудь хоронят. Иногда — с так называемой музыкой, с оркестром. И пьяненький барабанщик невпопад ухает колотушкой в отсыревшую кожу своего «струмента». Голосят незнакомые женщины. Причем незнакомый, посторонний плач по чужому покойнику все реже вызывает у меня страх или глухое раздражение и все чаще — смиренную оторопь. И, сидя в избе за пишущей машинкой, отбиваясь от на-

зойливой осенней мухи, начинаешь сдержанно сходить с ума, вглядываясь в эту муху и одновременно задавая вопрос: почему она садится на меня, на мое теплое еще тело, а не на шкаф или пластиковый абажур?

И почему все-таки гневаемся мы на оторопелых «гуманистических старичков», отмахиваемся от них порой, как от назойливых мух, топаем на них ножкой, почему призываем собратьев не к созиданию, а к разрушению, не к воспитанию, а к восстанию, не к постепенному очищению, а к скоропалительному перевоплощению? Не оттого ли, что закваска у нас всеотрицающая, а поведение — общинно-стадное, ясельно-детсадовское, дружинно-школьное, что организм нашей жизни обезбожен — по аналогии с обезвоженным, то есть обреченный организм?

И все-таки... как сказал бы непридуманый, неподдельный гуманист Владимир Галактионович Короленко, представитель редчайшей категории людей с мужественной, незамутненной совестью, все-таки впереди — огоньки! Огоньки неизвестности, огоньки вероятности, если и впрямь — не огоньки Веры! И значит, кому-то нужно, чтобы на бруствер рядом с отцом, пусть в мифе, пусть в очередной легенде, вставали и его сыновья, способные любить, причем не только себя, но и других.





Покаянный свет





Глеб Горбовский среди писателей России. Санкт-Петербург. 1998.



1990 — 2000-е годы

19 августа 1991

(Частушка)

Очень странная страна,
не поймешь — какая?
Выпил — власть была одна.
Закусил — другая.





РАБ БОЖИЙ

Он сидит в своей каморке,
смотрит жалобно в окно...
Он не любит хлеб свой горький,
сам себе — не рад давно.
На запоре окна-двери,
превратил свой дом в тюрьму...
Что случилось?
Он... не верит.
Ни во что. И — никому!
Поступили с ним так плохо
кто? Родители, жена,
дети, Родина, эпоха,
вездесущий сатана?
Поступили. Кто — не важно.
Наяву — не в страшном сне.
Тихим стал. А был — отважным.
Там, однажды, — на войне.
Страшен враг. Страшней начальство:
речи, планы... Вот и сник.
А ведь он, в своем начале,
был живым, как в горле крик!
В шифоньер, под звон регалий,
пиджачок задвинут вдаль...
Не убили. Запугали!

Мне его смертельно жаль.
Жаль сиротку, жаль былинку,
жаль себя (ведь он — во мне!),
землю жаль, народ былинный,
робкий свет в его окне.





ФРАНЦУЗСКИЕ КАПЛИ

«Свобода, равенство, братство...»

От вкрадчивых капель хмелеет округа.
Свистит тенорок, как тамбовская вьюга!
И брызжут с трибуны — мокротой — слова:
«Россия без крови и смерти — мертва!»

Ах, вам ли не знать, сатанинские дети,
что чадо свободы зачато в запрете,
что путы свободы и цепи тюрьмы
извечно — одной! — порождения тьмы!

Все ваши призывы — не глубже могилы.
Лишь в гордом смирении черпаю силы —
не в ваших свободах, чье имя — т щ е т а:
в пресветлой предсмертной улыбке Христа.





* * *

Вот мы Романовых убили.
Вот мы крестьян свели с полей. *
Как лошадь загнанная, в мыле,
хрипит Россия наших дней.

— «За что-о?! — несется крик неистов. —
За что нам выпал жребий сей?»
За то, что в грязь, к ногам марксистов
упал царевич Алексей.





* * *

В музее монументов,
чьи кончились часы,
утрачены «фрагменты» —
бородки, лбы, носы.
Калинин, Ленин, Троцкий,
угрюмый дядя Джо...
Отпетые уродцы.
Не крикнешь им: «Ужо!» —
как пушкинский Евгений
надменному Петру...
Их каменные тени
живут.
А я — умру.





ТЬМА ВНЕШНЯЯ

Как бы во сне, на дне развалин храма,
разбитого войной или страной,
лежали мы во власти Тьмы и Хама,
покрытые кровавой пеленой.

Сплетенные корнями сухожилий,
проклеенные вытечкой мозгов, —
развратники, пропойцы, пыль от пыли,
лжецы и воры низких берегов.

И дьявол нас вычерпывал бадьею,
как сточные отбросы сплывших лет...
Но и меж сих, отвергнутых Судьбою,
нет-нет и брезжил покаянный свет!





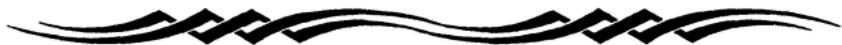
* * *

Выцветшие мелочи,
утлый дачный быт.
Надпись на тарелочке:
слово «Общепит».

Что-то неудачное,
шрамом на лице,
мрачное, барачное
в том сквозит словце.

Что-то тускло-мнимое,
как сухая ржа,
злое, но родимое,
с чем срослась душа.





* * *

Отверстые двери вчерашнего склада.
Внутри пред иконой мерцает лампада.
Еще в этом складе — и сыро, и душно,
но можно затеплить свечу, если нужно.
Еще здесь прохладно, как в затхлой пещере,
но можно уже отдышаться — и верить!
Пусть пахнет мышами и прелой картошкой,
но можно уже начинать понемножку
любить, и прощать, и терпеть, и дарить —
к воскресшему храму дорогу торить.





* * *

Под собой не чуя ног,
поздней осенью, во мраке
я набрел на огонек,
что мерцал в пустом бараке.

Расползлись его жильцы
кто куда по бездорожью,
разошлись во все концы,
положась на волю Божью.

И лишь некая душа —
запропавшая без вести,
продолжала, не спеша,
проживать на прежнем месте.

Зажигала свет в окне,
ветер слушала вполслуха...
И блуждали по стене
тень и свет живого духа.





* * *

Сердце выдохнется и умрет.
Будет рай, где мы уже не люди.
Или — ад. Мне все равно, по сути.
Будет нечто. Жизнь наоборот.

Ни березки голой под окном,
ни шуршащей за окном метели.
Будет то, что мы не разглядели
в серых буднях, в промельке ночном.

Явь за явью... Дух, но — не в сосуде,
Будет «то». Но «этого» — не будет.
Или — или. То бишь либо — либо.
Что-то будет. И на том спасибо.





* * *

Среди деревьев возле дачи
одно вело себя иначе,
чем остальные деревá:
оно... скрипело! Чуть, едва.
Оно стенало, как от боли,
как бы желая лучшей доли.
И, затаясь в своем углу,
тот скрип терпел я, как иглу,
входящую в мой мозг унылый...
Но вот на днях собрался с силой,
схватил топор! И — смерть сосне.
Но скрип остался. Там, во мне.





* * *

Всю ночь сухие травы
ломались подо мной.
Окраиной державы
спешил я в мир иной.

Всю ночь пустыней-степью,
свобода — как тюрьма...
Страх, возведенный в степень,
сводил меня с ума.

Нет, не в киргиз-кайсаки —
в край жизни неземной!
И молча шли собаки
бездомные за мной.





* * *

Рассвет сквозь иглы сосен.
Туман съедает снег.
Весна, а в сердце осень.
И деревянный смех.

Идем. Куда? Не знаю.
Ведут. Молчит конвой.
Россия, мать родная
с патлатой головой.

Явь источает запах,
тоску — не аромат.
Плывет, как дым, на Запад
великорусский мат.





* * *

Чахоточная черная зима
держалась на нуле, дождила аж до марта.
Но вот за окнами как бы истлела тьма, —
снег повалил... И сколько в нем азарта!

Деревья щеголяли в бахроме,
земля и впрямь для многих стала пухом.
Неслышные машины шли с ухмылкой на уме.
И провода над городом — как бы от сна опухли.

Кирпич старинный здания тюрьмы.
Ощерилась в стене железная калитка.
Последний человек на снег из затхлой тьмы
ступил... и прочь спешит — задумчиво,
но прытко.





* * *

Душа еще жива,
цела — не извели,
как церковь Покрова
над водами Нерли.

Парящая, светла,
хотя в воде мазут.
Грань каждого угла
ясна, как Божий Суд.

Над зеленью полей,
над белизной снегов
она хранит друзей
и... стережет врагов.





* * *

Птички до рассвета
весело поют.
Скоро будет лето,
на душе — уют.
Пулемет соседа
даст осечку вдруг.
Будет больше света
и любви вокруг.
За стеной кремлевской,
как когда-то встарь, —
свой и пьяный в доску,
добрый государь.
Будет нам калачик,
на копейку — два!
А в глазах, на сдачу,
вспыхнет синева...





* * *

Тополя набухли влагой,
в воздухе — туман и прель.
Вот и все... Пойду и лягу,
как собака, на панель.

Пусть меня машины давят
в сумерках... И — дождь кропит.
Пусть моей Прекрасной Даме
рай приснится, а не быт.

Золотые гаснут окна,
улица, как гроб, узка.
...А Всевидящее Око
заслонили облака.





* * *

Алёне

Больница, психушка. Решетки стальные.
Поют задушевно душевнобольные.
Они на веранде расселись, как в клетке.
Веселые нынче им дали таблетки.
На уровне их изумительной сцены
деревья растут и чирикают птицы.
Заслышав, как люди поют вдохновенно,
на миг перестала листва шевелиться.
И птицы умолкли. Лишь где-то за зоной
заплакал ребенок. Грудной. Потрясенный.





* * *

Вновь отпылала заря.
Смутному голосу внемлю:
«Боже, верни нам царя,
выручи русскую землю!»

Шум этой жизни и гам
я в своем сердце смиряю.
Молча к разбитым ногам
вновь кандалы примеряю.

Ночь на дворе, как стена.
Темень, как камень, недвижна.
Слышно, как дышит страна.
Все еще дышит... Чуть слышно.





* * *

Россия — далеко не храм
и не собор, не кроткая обитель.
Она — барак, где вечный тарарам! —
и стыд, и срам, разборки в гнусном виде.
Там лень работать и мириться лень,
а помолиться — бомбой не заставишь.
Спокон веков кулак или кистень —
оружье духа! В душах — скукота лишь.
Лежать на нарах, дьяволу кадить,
проигрывать друг друга в карты...
При жизни в преисподню угодить!
Когда, о, Русь, отклеишься от нар ты?

Я знаю: паразиты кровь твою
сосут и портят. И кромсают душу.
Ты столько лет стояла на краю,
что — в край вросла! Тебя уж не обрушить.
Пусть ты — не храм. Ты — крепость. Ты — жива...
Ты есть неугасимая лампада.

Барак сторит, как старая трава.
И пусть горит. А храм — достроить надо!





ВАНЮША

Ванюша приходил к монахам,
как мы — за правдой к Ильичу.
И, помолясь единым махом,
бубнил чуть слышно: «Исть хочу...»

И сразу в трапезной смущенье —
в сердцах. И оттепель — в глазах.
Ванюша примет угощенье
и прочь спешит — в соплях и вшах.

Его мамаша — пьянь, неряха,
подглазья метят синяки —
сынка спровадила к монахам.
Но тем со вшами — не с руки.

И вот Ванюша — в интернате.
В канаве сточной дрыхнет мать.
Не радость вечной благодати —
подай им, Бог, тепло объятий!
...А лет Ванюше — целых пять.





* * *

Во дни печали негасимой,
во дни разбоя и гульбы —
спаси, Господь, мою Россию,
не зачеркни Ея судьбы.

Она оболгана, распята,
разъята... Кружит воронье.
Она, как мать, не виновата,
что дети бросили ее.

Как церковь в зоне затопленья,
она не тонет — не плывет —
все ждет и ждет Богоявления.
А волны бьют уже под свод...





* * *

В атмосфере дремучей, огромной,
за лесами, за Волгой-рекой —
слушать издали гомон церковный,
обливаясь звериной тоской...

Лес гудит, как ночная машина,
ветром-ухарем взят в оборот.
И душа, как стальная пружина:
не опомнишься — грудь разорвет!

...Как поют они чисто и внятно
в тесном храме — пичьи голоса!
Неужели тебе непонятно:
там от века синей небеса.

Только там — за оградой церковной,
там — под сводами горней мечты
обиталище Воли Верховной!
Так войди же под своды и ты!

Обогни неслепую ограду,
отыщи неглухие врата —
и получишь Свободу в награду.
И — Любовь! И уже — навсегда!





* * *

Зрение греха своего...

И. Брянчанинов

Во дни утрат, усилий ложных
сыны истерзанной страны
взялись построить церковь Божию
на берегу реки Двины.
И каждый плотничал — вначале
в словах нечист и в мыслях груб,
без умиления и печали,
как будто ладил банный сруб.

Но вот над куполом, венчая
их труд благой, простерся крест!
И выдал денежки начальник
и отпустил до отчих мест.
И, отойдя на расстоянье,
все оглянулись, как один,
но — не увидели сиянья
и не исчерпали глубин.

Но каждый вспомнил почему-то,
как был он пьян, как бил жену,
как обманул, посеял смуту,
разрушил бранью тишину...
Стояли молча. Не молились.
Волос не рвали. Но на миг —
все вдруг чего-то устыдились...
Как бы узрели Божий лик!



* * *

Во храме, разоренном, как страна,
где ни крестов, ни даже штукатурки,
могильная набрякла тишина...
Как вдруг возникли некие фигурки!
Они свечу — чтоб Истину постичь —
затешили в подхрамных катакомбах.
Здесь — своды Православия. Кирпич
терпения... Бессильны бомбы:
храм устоял! Надгробная плита
нам говорит: под ней — чудесный старец.
Хоть пять веков могила заперта,
а святость старца — не ржавеет стали!
Звучит акафист вечному Христу.
Плывет из уст! В груди — смиренней вздо-
хи...
И не свечу — алмазную звезду
я различаю в сумерках эпохи!
И пусть над нами — бездыханный храм...
В глазницах окон — воронье и ветер...
Горит свеча! А стало быть, и там,
в стране моей, где потрудился хам, —
Любовь и Мир возбрезжут на рассвете!

*Свято-Троицкий Зеленецкий монастырь,
1993*





* * *

Зима. В окне стоят дымы —
не от воскресших кочегарок,
не от каминных истин старых, —
костры горят! В объятьях тьмы.

И не дрова трещат в огне —
умы пылают и надежды,
ларьки вранья и скрежет нежный
знакомств, возникших по весне.

И, как в далеком феврале
Семнадцатого, в час расплаты —
молчит над городом Распятый...
Лишь кровь дымится на челе.





Василій Белов и Глеб Горбовскій. Санкт-Петербург. 1988.



УГЛОВАЯ ДВЕНАДЦАТАЯ...

Из книги «Остывшие следы. Записки литератора»

Карельский берег Финского залива. Дачный поселок в полусотне километров от Ленинграда, ставший известным в стране благодаря эстрадной песенке, где нещадное число раз повторяются строчки: «На недельку до второго я уеду в Комарово!» Это — для одних. Или — для большинства. Для других Комарово — прежде всего могила Анны Ахматовой. А для нас, писателей «северо-западного региона», Комарово — еще и тихое пристанище, где, затворившись в девятиметровой келье Дома творчества, можно месяц-другой поработать за казенным письменным (а также обеденным) столом.

Без малого тридцать лет прошло с тех пор, как впервые по льготной путевке (молодежной) проник я в это маняще-таинственное, а как выяснилось чуть позже, весьма прозаическое и в чем-то даже убогое заведение. Вот и сегодня, выстукивая на машинке комаровскую главу «Записок», нахожусь я в одной из «камер» писательского Дома творчества, именно в той из них, 39-й, угловой на третьем этаже, которую до недавнего времени так любил занимать писатель Федор Абрамов.

В трехэтажном послевоенной застройки жилком корпусе — сорок номеров. За тридцать лет переночевал я почти в каждом из них. А последние десять лет в Комарове я зимую регулярно — с октября по май, и порою мне начинает казаться, что и на свет-то

я появился здесь, в этом писательском убежище, напоминающем старинную богадельню, и мужал, и старел тут же — безвылазно. С чего бы такие фантазии? Просто существо мое, затворяясь в стенах «интеллигентного» общежития, наверняка испытывало и по сию пору претерпевает на себе колоссальной концентрации энергию, оставленную за десятилетия в каждой из комнат-гнезд многочисленными мечтателями и честолюбцами, чудаками и завистниками, стяжателями и бессребрениками духа, и, погружаясь в слои, в тяжкие пласты и глубины этой энергии, добавляя в нее свои собственные это (от «мега»)-ватты, ты как бы начинаешь помаленьку забывать «внешний мир» со всеми его красотами и соблазнами, бедами и победами, погружаясь в свободу одиночества, приобретая задумчивый вид добровольного отшельника, ушедшего не столько в себя, сколько в ложное ощущение, что ты-де не совсем такой, как все, а как бы еще и писатель, фантазер, иными словами — человек если и не сошедший с ума, то сдвинутый с круга нормальной жизнедеятельности.

Большинство из моих соседей по «номерам», с которыми я начинал комаровские сидения, постепенно перебрались на ту сторону железнодорожного полотна, по которому бегают электрички из Ленинграда в Выборг и обратно, перебрались, так как именно на той, удаленной от моря, «сухопутной» стороне расположено поселковое кладбище. Большинство, но пока что еще не все. Часть из них перебралась как бы еще дальше, нежели за полотно дороги, — за пределы государственных, и живут сейчас в Париже, Риме, Нью-Йорке, в Австралии, где, в свою очередь, перебираются куда-то еще дальше, принимая иллюзию передвижения по земле за жизнь вечную, покуда все, как один, не сойдутся,

каждый в своей точке окончательного пересечения с матерью-планетой.

Еще одна толика комаровских завсегдатаев продолжает обитать бок о бок со мной, совершая по дачным дорожкам предсмертные «оздоровительные» прогулки, потребляя супы, каши и винегреты в дом-творческой столовой конструктивистского образца — плоской и серой, возведенной не так давно по мифическому «итальянскому» проекту, не чета прежней, барачного типа замухрышной едальне, в которой принимала казенную пищу Анна Андреевна Ахматова.

...В семейной библиотеке, которую, как храм в «безбожные» годы, довелось мне разрушить собственными руками, имелись две книжечки стихов Анны Ахматовой — «Четки» и «Белая стая». В книжечки эти заглядывал я потому, что мне нравилась их книжная досоветская фактура: бумага, шрифты, графика — взращенные другой, а для моего тогдашнего сознания — почти доисторической эпохой. Особенно прельщала толстая, основательная, с «водяными» размывами на просвет бумага «Белой стаи». При взгляде на эту книжку испытывал я босяцкое почтение, как перед чем-то уже недоступным, дворянским, пусть отвергнутым, отмененным внешне, однако оставшимся в атмосфере бытия, будто невидимый, сшибленный активистами крест над куполом собора — как если у человека (государства) оторвать нечто, составляющее контур его облика, — руку, ногу, ухо... — то, глядя на него, мы всё равно домысливаем в нем эту потерю. Наверняка пленяли меня в этой книжке и отдельные словосочетания, подсознательно я как бы даже улавливал тон ахматовской поэтики, и все же, говоря откровенно, прелесть этой поэтики в те годы волновала меня эфемерно. «Кабачкий» Есенин, ранний, безогляд-

ный Маяковский, отважно-манерный Северянин, не весь, а только «выпуклый», экспрессивный Блок («За городом вырос пустынный квартал...», «Под насыпью, во рву некошеном...», «Скифы», «Двенадцать»...), «Ворон» Эдгара По в переводах Брюсова, да и брюсовское «Юноша бледный со взором горящим...» — вот чем питалось сердце в те годы.

Сдержанная, напряженно-утонченная, воспитанная в духе благородного девичества, благопристойная, тактичная поэзия Ахматовой казалась мне чем-то хрустально-заиндевевшим, не чужеродным вовсе, но как бы отстраненно высокомерным. Мне, послевоенному подростку-скитальцу, хотелось чего-нибудь попроще, позапашистей и, что скрывать, поразухабистей.

И когда в начале шестидесятых ленинградские, официально не признанные поэты-протестанты, жившие до этого как бы вразрез всеобщему течению — Иосиф Бродский, Евгений Рейн, Анатолий Найман, Дмитрий Бобышев, — решили почему-то представить меня Ахматовой (как затем и Соснору, и Кушнера, Битова), меня, только что издавшего официальным способом свои экспедиционные, сахалинско-якутские стихи, и кому представить — всемирно известному («благодаря» ждановскому постановлению) поэту, обладавшему еще дооктябрьской славой, самой Анне Ахматовой, — я почему-то не растерялся, даже не насторожился (вот что значит молодость, со всеми ее восторгами и безоглядностью!). Спустя энное число мгновений я все же изрядно смутился и, чтобы не вибрировать во время визита к «старушке», для храбрости хватанул стаканчик «табуретовки». В озорном сознании, помнится, даже возникла еретическая мысль — испросить у Анны Андреевны тайну «трех карт», естественно — поэтическую тайну.

А то, что не растерялся я, получив королевское приглашение, и вообще расхрабрился, объяснить можно чисто психологически: до этого, чуть раньше, во мне как бы произошло заземление возвышенного образа Поэта, ставшего классиком пока лишь в некоторых, наиболее объективных умах, а в других умах являвшегося как бы заживо похороненным пережитком, анахронизмом, а то и «врагом народа». И еще: заземление во мне образа Ахматовой случилось по причине общежитийской: много дней наблюдал я Анну Андреевну сидящей в писательской столовке, правда, сидящей гордо, спиной к «братии», и все ж таки заурядно жующей казенную пищу вместе со всеми. («Не наваждение, не символика: на склоне века, в сентябре сестра Цветаевой за столиком клюет казенное пюре», — напишу я через пятнадцать лет в Коктебеле, познакомившись в крымском Доме творчества с Анастасией Ивановной Цветаевой, как бы продолжая изумляться невероятному сочетанию обстоятельств, когда человек с фамилией небожителя (Ахматова, Цветаева), более того — родная сестра самой Марины! — прозаически питается за одним с тобой «столовским» столом, с тобой, простым смертным, который, изловчившись, вместо кнесселя на десерт норовит всучить Цветаевой № 2 стишок собственного изготовления, бессознательно (подсознательно) надеясь, что она «где-то там» на небесах поделится вашим стишком со своей старшей сестрицей — Цветаевой № 1.)

Вот такая наивная «реакция неприятия», реакция на совмещение «казенного пюре» и свободного поэтического Слова. «Как же так?! — клубился тогда в моем возлеахматовском сознании дымок разочарования. — Поэт из невозвратной, легендарной эпохи Поэтов, современница, а главное, совладычица поэтических дум и жестов Александра Блока, Нико-

лая Гумилева, Сергея Есенина, Игоря Северянина, Валерия Брюсова, Константина Бальмонта, вообще — подлинная, из серебряного века, поэтическая декадентка, акмеистка, ходячий миф, и вдруг... хлебает расхожий союзписательский супец!» Сие-то и расхолодило, расслабило на какое-то время, а именно — до той поры, пока не позвали меня в угловую двенадцатую, ахматовскую комнату, что на первом этаже Дома творчества.

По причине рассеянного внимания («табуретовка», «пюре» плюс «сами с усами!») не могу теперь безошибочно перечислить всех, кто, помимо величайшей хозяйки, находился тогда в «нумере». Из произнесенных Ахматовой слов запомнились отдельные восклицания. Из слов «окружения», свиты, а также из своих собственных — ничего не запомнилось. Смутно воскрешаю в себе давнее видение: Анна Андреевна в кресле, кутается во что-то белое, теплое, скорей всего — в пуховый, ручной вязки платок или шаль. Нет, я не ел ее глазами, как ненормальный. Природного, подсознательного такта хватило на то, чтобы не мельтешить. Ахматова сама попросила читать громче, да и «сваты» предупредили, что мэтресса глуховата. Во время чтения Анна Андреевна едва заметно, не слишком выпячиваясь, вежливо подставляла ухо, не разворачиваясь в кресле, а всего лишь как бы поводя головой вслед за ускользающим голосом чтеца. И все-таки время от времени просила читать громче, отчетливей. Помнится, обстоятельство сие немало меня раздражало. Приходилось напрягаться, словно бы навязывая себя, а не... даря. Что ж, самолюбие, как и здравый смысл, всегда при нас. Тем паче в годы молодые.

Читал я тогда стихи из своих комаровских, наиболее строгих, собранных циклов «Косые сучья» и «Сны», стихи, тяготевшие, как мне казалось, к не-

коей музыкальной классичности словесного строя и даже — к инструментовке. Свои же лохматые, «отчаянные» стихи из разряда «про́клятых», как губка напитанных винными парами и невинными семантическими шалостями, читать я не осмелился, и правильно сделал, потому что в «про́клятых» (по выражению профессора Наума Берковского, польстившего мне примерно в те же дни, шутливо или нет сравнив мою непечатную, взвинченную «продукцию» с творениями именитых французов) имели место вкрапления слов, мягко выражаясь, нецензурных, режущих «серебряный» слух.

Поэты, окружавшие тогда Анну Андреевну и пожелавшие представить ей меня, едва я открыл рот, мгновенно превратились в молчаливый синклит и с непроницаемыми лицами наблюдали за реакцией «самой». Не знаю, кто именно — Евгений Рейн или Дима Бобышев, Толя Найман или Иосиф Бродский — проявил инициативу, предложив Ахматовой «отслушать» Горбовского? Может — все разом? Мы ведь тогда дружили, еще лишённые некоторых из предрассудков, что нагрянут к нам чуть позже, дабы испытать на прочность все то человеческое и божеское, коим обладали мы от природы. Правда, обитал я от упомянутых поэтов несколько в стороне, был менее образован да и внешне проигрывал им бесспорно; порой досаждал ребятам в «поисках тепла», раздобывая денежку на очередную «порцию», причем, комплексуя, не забывал упомянуть, что, дескать, Порция — это именитая некогда «древняя» римлянка, жена М. Брута, выступавшая против самого Цезаря, а не «сто пятьдесят с прицепом», то бишь с килечкой, — одним словом, не забывал прихвастнуть справочно-познавательской эрудицией (знай наших!).

Читал я в тот вечер «с листа», и не просто по записной книжке, а считывал рифмованную продук-

цию со страниц культурненько сброшюрованных самиздатовских сборничков, за несколько часов до начала «аудиенции» отпечатанных мной на первой собственной пишмашинке марки «Москва», которую приобрел на деньги от жиденского гонорара за свою первую книжку стихов «Поиски тепла» (70 коп. за стихотворную строку, тираж — 2500 экземпляров, объем — полтора авторских листа).

Анна Андреевна изъявила желание взглянуть на брошюрки. Она подержала «продукцию» в царственных руках, улыбнулась самодельным «титульным листам» сборничков, на которых значилось: «Сны» и «Косые сучья», — полистала. И я осмелился предложить их ей «на добрую память». Не отказалась, даже попросила надписать «дарственную», что я и проделал с превеликой энергией. Приняла. А что ей оставалось делать, ей, человеку, воспитанному несколько иначе, чем я?

Не из ложной скромности решил я не приводить тут похвальных ахматовских слов в адрес моего чтения. Не запомнились таковые. А может — и не было вовсе. Было — внимание. Отчетливое. Со стороны пожилой женщины. Не прервавшей юного декламатора ни словом, ни вздохом. А следил я за ее лицом внимательно. И прервал бы себя незамедлительно при малейшем сигнале рук, глаз, губ, дыхания Ахматовой, возвещавших об утомлении, вообще — о скуке.

Похвальных слов не запомнил. Если они и были, принял их как должное. Зато уж «критическое замечание», переросшее затем в маленькую дискуссию с поэтессой, врезалось в память стальным осколком! Причиной дискуссии послужило одно из моих тогдашних стихотворений, озаглавленное прозаическим словом «Ботинки». В нем — двенадцать строк. Приведу их полностью. Как вещественное доказательство. Как свидетельское показание. По просьбе обвиняемого.

Ботинки

Как машины грузовые, на резине
мы ходили, мы закаты коротали...
А вчера в универсальном магазине
мы купили греко-римские сандалии.
Оплатили цвета пыли макинтоши,
в цвета стали мы представились беретах.
Мы пошили сногшибательные клеши,
надышались из нерусской сигареты.
И мелькали греко-римские сандалии,
и ходили мы — плакаты и картинки.
...Но всегда нас под кроватью ожидали
грузовые эпохальные ботинки.

Стихотвореньице сие было написано в конце пятидесятых годов, однако уцелело в моем сознании и к середине шестидесятых, когда в числе других прочитал его Анне Андреевне. На этом стихотворении Ахматова как бы очнулась и высоким (по смыслу) и одновременно низким (по тембру) своим голосом произнесла в мою сторону:

— Ботинки — нерусское слово... У нас — башмаки или сапоги. А ботинки — не наше. — Замечательно, что слово «нерусское» произнесла она слитно, как эпитет, а не как отрицание.

Теперь-то я понимаю, что нужно было согласиться со «старшим по званию», по крайней мере — не перечить Анне Андреевне. Тем более что, как выяснится в дальнейшем, Ахматова была ближе к истине, нежели я. А тогда на положении случайного гостя (гостя не только знаменитой поэтессы, но как бы и самой госпожи Поэзии) я попытался не совсем вежливо противоречить, отстаивая, как мне думалось, свою точку зрения. Мне тогда показалось, что Ахматова, мягко говоря, отстала от жизни, ну, не отстала — отклонилась в свою интеллектуально-затворническую, башенно-отсутствующую сферу, точнее — атмосферу, где люди ее круга, изъясняясь,

все еще по инерции употребляли слова своего времени: «салон», «кафтан», «баретки», «штиблеты», «калоши», «гамаша», игнорируя укоренившиеся, в том числе и «ботинки» (от старинного, хотя и нерусского, «ботфорты» и далее — «боты»); в дальнейшем я, памятуя об ахматовском упреке, подумывал о замене «ботинок» вульгарными лагерно-солдатскими «бахилами», но слово это резало даже мой не столь изысканно-утонченный слух своей не то чтобы непоэтичностью, но как бы — чужеродностью в контексте лирического жанра. И, отвечая на реплику Ахматовой, съязвил:

— Может, «лапти» вместо «ботинок» употребить? Или какие-нибудь «чуни», «опорки»?

Ахматова ничуть не смутилась. Она лишь пояснила:

— «Опорки» — это производное от «сапог». Когда отрезают, отпарывают сносившиеся голенища и ходят в одних... опорках.

В общем-то, я и сам к тому времени знал, что такое «опорки», но дух противоречия возобладал, и я попытался взбрыкнуть еще разок:

— А я-то считал, что опорки потому так зовутся, что на них... ноги опираются! «Опора в превратной судьбе!» — процитировал я Лермонтова, чисто машинально, даже как бы из озорства, ожидая, что вот сейчас Ахматова взорвется, скажет: «Не кощунствуйте!» — или что-нибудь в том же духе, но Анна Андреевна стоически промолчала. Лишь посмотрела в мою сторону этак... сочувственно.

Теперь-то я понимаю, что Ахматова была права, протестуя против смысловой неорганичности «прозападных» ботинок, вставленных в стихотворение, обладающее патриотическим задором. И что с того, что я никогда — ни во время написания, ни позже — не считал сей опус русофильским. Написа-

лось-то непреднамеренно, импровизационно, почти бездумно. Думалось: обойдется. Не обошлось. Слово хоть и не воробей, однако летает. Даже такое заземленное, как «ботинки». Особенно — в «воздушном пространстве» ахматовского утонченного надсоциального слуха. Небось, антизападный «еврофобский» душок стишка так и шибанул, будто квасная отрыжка... Вот Анна Андреевна и не смолчала. Не из протеста к моей «направленности» — от нетерпимости к элементарной поэтической неряшливости, несоответствию, стилевому диссонансу.

Но возвратимся к нашему визиту в угловую двенадцатую, где я отважился вручить Ахматовой доморощенную поэтическую продукцию. Последствия «дарения» оказались весьма неожиданными: на завтра Анна Андреевна прислала ко мне порученца за пишущей машинкой и копировальной бумагой. Ахматовой понадобилось что-то срочно перепечатать. А так как я прихвастнул своей домашней типографией, то есть — был легок на помине, то и решили просить машинку не у кого-то из «мэтров», обитавших тогда в Комарове, а прямоком у самодеятельного автора «Снов» и прочих косых сучьев. До сего дня я так и не выяснил: имелась тогда у Ахматовой своя пишмашинка, или отсутствовала, или — сломалась? (Теперь, после недавнего опубликования в «Новом мире» заметок об Ахматовой Анатолия Наймана, вывод таков: А.А. вообще не любила «машинки», предпочитая им классическое Перо.)

«Технику» возвратили мне через день-другой вместе с копировальной бумагой, той, что была использована, однако использована удивительно аккуратно, во всяком случае, с копирки, повернутой «лицом» к свету, запросто считывался текст, отбитый кем-то из ахматовского окружения на весьма шумной, нещадно тарахтевшей «Москве». Листы

копирки использовались почему-то единожды, под каждую последующую страницу текста подкладывался новый лист «переводки». Тогда же подумалось: ничего себе живут! Непонятную мне расточительность приходилось толковать, опираясь на свои плебейские запросы и возможности: дескать, вот она, голубая кровь, с ее замашками, госпожа, поэтическая дама — вот и чудит, вот и размахнулась.

Даже когда вчитывался в повествовательные строчки, предварявшие «Реквием», в которых говорилось о стоянии в очередях возле тюремного подъезда, в голову почему-то не пришла «крамольная» догадка: а ведь тебя, дурака, похоже, приглашают к прочтению опальной поэмы, потаенного слова... Пусть — к прочтению «наоборот», навыворот, в зеркальном, так сказать, варианте, к прочтению сквозь черную, ночную бумагу, наложенную на дневной животворящий свет, что вызревал помаленьку за окном, в пространствах и помыслах Отчизны. Но вот же, занятый собой, не сообразил, не догадался, что пожилая, грузная, величественно-глуховатая женщина способна на какой-то экстравагантный, протестующий, «молодежный» жест. Разве не могла она таким образом взять и поделиться сокровенным, почти запретным? Могла, конечно, и делилась... Но вряд ли — с первым встречным. И «трюк» с копиркой наверняка принадлежал (по замыслу) не ей, а тому, кто перепечатывал тогда поэму. Кто знал меня основательнее, нежели хозяйка поэмы. Этим своим соображением я ни в коей мере не хотел бы умолять бесстрашие ахматовского мужества, отвагу ее сердца, которое к тому времени наверняка еще не оттаяло от стояния в ежовских очередях, замученное, однако не сломленное, ибо чем для него, да и не только для него, был в те годы «Реквием»? Ведь и впрямь — не столько «литературным произведением», сколько

зауспокойным плачем по убиенным, по растоптанной свободе, но еще и — обвинительной речью Поэта на процессе возрождения справедливости (не призывом к Возмездию, однако, ибо раба божья Анна к тому времени уже целиком и полностью исповедовала милость наджизненного Добра).

И тут через какое-то время меня вновь приглашают в «номер» к Ахматовой и вручают сроком на одну ночь экземпляр «Поэмы без героя», отпечатанный также на моей машинке. И ставят, причем вполне серьезно, неперемное условие: изложить о поэме «собственное мнение», предъявить его от лица нового поколения поэтов — автору. Вот так, и ничуть не меньше.

Меня подвело мое трудноотмываемое поэтическое невежество. Помогла — интуиция, врожденный нюх на прекрасное. Излишней самонадеянностью хоть и не страдал, однако оценить предложение «должным образом» все ж таки не сумел. Почему? А потому, что поэзия Ахматовой не была для меня в те годы откровением, я не проник в нее, не упивался ею захлеб, не обмирал над нею от счастья и восторга, как, скажем, над волшебной лирикой Александра Блока, обнаженно-беспощадными поэмами («Поэма конца», «Поэма горы») Марины Цветаевой, над ее, Марины Ивановны, проникающей прямо в грудную клутку, надполой, не женской и не мужской (сверхлюдской!), «политикой» стиха, над есенинским «несказанным светом», северянинским необъяснимо прелестным, неповторимым псевдоизыском. Ахматову я лишь трепетно уважал к тому времени, как иногда уважают коллекционеры редчайшую реликвию, способную к тому же не просто ютиться под охранным музейным стеклом, но и подавать вам при случае руку, дарить улыбку-мысль, облеченную в классической пробы стихи. Ахматову, живой, теп-

лый мрамор ее лирики полюбил, освоил сердцем — гораздо позже. Для меня она долго оставалась «закрытым» поэтом, закрытым не искусственно, не чьей-то злой волей — моим добровольным восприятием мира, слова, любви.

Отчетливо помню, что поэма Ахматовой не только не потрясла меня, но и не взволновала, не зацепила, оставила равнодушным. Доказательство тому — недавние мои сомнения, развеянные на днях Андреем Битовым: что именно читал я тогда — «Поэму без героя» или «Реквием»? Битов без колебаний назвал «Поэму без героя». И добавил, что Ахматова просила высказаться о поэме и его, Битова. И что якобы именно он относил хозяйке список поэмы, так как я будто бы в тот вечер «перебрал» или просто струсил. Таким образом, получается два варианта: либо Ахматова вручила поэму тому и другому, либо одному вручила «Поэму без героя», а другому — «Реквием»...

Нет, я не проклиная скудные возможности своей памяти, а лишь благодарю Всевышнего за то, что память сия не сохранила во мне того лепета, которым объяснял я с Ахматовой, делаясь впечатлениями о ее легендарном творении. Значит, так нужно было, чтобы Ахматова, приглашая меня к Поэме, все-таки не пустила меня в нее, морально не собранного, расхристанного, неуравновешенного. Пройдут годы, и сам я постучусь в ее Книгу и долго буду стоять под ее сводами, озираясь, словно в гулком храме.

Что ж, я действительно не помню своих, наверняка жалких, слов о Поэме, но впечатление беспомощности от неумения высказаться ясно, предельно искренне сидит во мне по сию пору. Недаром Поэму хотелось сравнить с зашифрованным письмом, отправленным автором кому-то из своих близких по духу, посвященных, владевших ключами разгадки.

А тут подвернулся я, и Поэму на какое-то время вручили мне, постороннему как бы человеку.

Беспомощность порождала досаду. Я стал горячо лепетать вовсе не о Поэме, а про... самое Ахматову, уверяя присутствующих, что Ахматова для меня как бы человек-экспонат из другой эпохи, классик, завершивший восхождение на Олимп где-то с начала Февральской революции, что она для меня как бы и не человек вовсе, не живое существо, а всего лишь символ, метафора, воплощенный образ Барда, и что «Белую стаю», а также «Четки» я недавно отнес к букинисту, а денежки пропил, и что дали за них гораздо меньше, чем за Блока издательства «Алконост», отнес, потому что книжки сии — все равно что пушкинские или тютчевские, что человека, написавшего их, невозможно встретить на планете живым, тем более в Комарове, как нельзя встретить где-нибудь в Вырице Ал. Блока (в Вырице можно встретить Ал. Кушнера), а на Васильевском острове — Баратынского (на Васильевском острове можно встретить Виктора Соснору). И тогда Ахматова закричала, не в ужасе и даже не возмущенно, а вот именно — убежденно, со знанием дела и одновременно как бы заклиная:

— Гомер-р! Гом-мер-р! Бесплотный, легендарный! Вот кто Поэт! Гом-мер-р! — чуть в нос, попутно, всей грудью извергла она из себя начало мысли и, сделав глубокий вздох, продлила ее на выдохе: — Гомер-р... Вот! А мы все — люди. Привычные человеки. Живые или проживающие. Поэт — звук, бестелесная музыка, звучащая легенда! Свобода... А мы... — и, подумав: — А мы — это мы.





АННА

Был какой-то период — не в жизни,
а над нею — в мерцании звезд,
в доцветании ангельских истин,
в Комарове — в Рождественский пост.

Восседала в убогой столовой,
как царица владений своих,
где наперсники — Образ и Слово,
а корона — сиятельный стих!

В раздевалке с усмешливой болью,
уходя от людей — от греха,
надевала побитые молью,
гумилевского кроя меха.

Там, в предбаннике злачного клуба,
что пропах ароматами щей,
подавал я Ахматовой шубу,
цепenea от дерзости сей.

И вздымался, по-прежнему четкий,
гордый профиль, таящий укор...
Как ступала она обреченно
за порог, на заснеженный двор.

Уходила тяжелой походкой
не из жизни — из стаи людей,

от поэтов, пропахших селедкой,
от терзающих душу идей.

Провожали не плача — судача.
Шла туда, где под снегом ждала,
как могила, казенная дача —
все, что Анна в миру нажила.





НАРОД

С похмелья очи грустные,
в речах — то брань, то блажь.
Плохой народ, разнузданный,
растяпа! Но ведь — н а ш!

В душе — тайга дремучая,
в крови — звериный вой.
Больной народ, измученный,
небритый... Но ведь — с в о й!

Европа или Азия? —
Сам по себе народ!
Ничей — до безобразия!
А за́ сердце берет...





* * *

Не спеши уходить
от меня — от бывшего.
Не оборвана нить,
не досказано слово.

Слышишь: бла́говест вновь
над страной, а не клетот.
Сядь и душу готовь,
словно пташку, к отлету.

Не спеши и не трусь.
...Дай, судьбу долистаю —
и тихонько вольюсь
в журавлиную стаю.





УЧАСТНИК ПАРАДА ПОБЕДЫ

Из глубины расейской,
из отдаленных сфер
возник тот, с виду сельский —
три «Славы»! — кавалер.

Он призван шаг печатать
и спинку разогнуть!
Кремлевская брусчатка
дает отдачу в грудь...

Есть, есть еще сноровка
и ножки — обе-две!
И кепочка-«лужковка»
торчит на голове.

Не Теркин и не Чонкин,
не «подвиг всех времен»,
а Митрич, заключенный
в колонну стариков.

Равнение направо:
туда, где быть звезде!
А там — орел двуглавый
на «должной высоте».

Нога с натуги млеет,
и взгляд косит едва.

Опять на Мавзолее —
мордастая братва...

Все как бы шито-крыто,
и вроде нет дождя.
И лапником прикрыта
фамилия вождя.

Вот только — боль в колене
и чтой-то с головой...
И в Мавзолее Ленин —
ни мертвый, ни живой.





ЛЕСТНИЦА

По каменной лестнице — к Богу,
по стертým ступеням ее.
По каменной, тяжелой — к истоку...
И нету перил у нее.

Свистит оглушительный ветер,
сомненья объемлют, как дрожь.
И, словно к далекой планете,
по стертým ступеням идешь...

А силы нажѣтые тают,
и нету ни ночи, ни дня...
Но медленно Воля святая
вздымает к вершине меня...





ПЕРЕКРЕСТОК

Земля, куда нас всех уложат, —
не символ смерти, не финал,
а перекрестье двух дорожек,
которых ты не распознал.
Чем ближе мы к концу-итогу,
тем суть ясней тебе и мне:
одна из них — дорога к Богу,
другая — в лапы к сатане.
Земля — чистилище. Все просто.
Смотри и — видь, смотри и — бди!
Не промахнись на перекрестке
и в царство тьмы — не угоди.





СТАРЫЕ СЛОВА

Эти кроткие — без крику —
синеглазые слова:
брашно, сумно, поелику,
греховодник, однава...

Эти грады, эти веси —
дивных слов косматый ряд,
словно буки в темном лесе,
напугают — не съедят.

Ведь за ними, как за синим
океаном, словно луч,
брезжит юная Россия
из-под злых и черных туч.





СЛОВА

Слова как дождь, слова как сверла.
Слова — невнятная труха.
Твои слова — берут за горло,
мои — берут за потроха!

Слова с подвохом, с подковыркой...
Слова — как бы напрасный труд.
Одни слова — берут за шкуру,
другие — за душу берут.

Слова любви, сердечной муки.
Слова — зеленая трава...
Но те и эти — только звуки,
то бишь — слова, слова, слова...





«СВОБОДА ЛИЧНОСТИ»

За что любил тебя, «свобода»?
За пыл разнузданный внутри?
За строчки, дьяволу в угоду?
За пьяных улиц фонари?

Да и была ли ты, химера?!
Свобода — в горней высоте.
Не там, где сердце жаждет веры,
а чуть повыше — на кресте!

Прощай, обман. Изыди в люди.
А от меня — сокройся с глаз.
Во мне — тюрьма. Я сам, по сути,
себя — не спас.





СЕРЫЙ АВТОБУС

Этот маленький серый автобус,
где сидят невеселые люди, —
в нем отвозят холодные гробы:
это — вроде посуда в посуде
или тара, застрявшая в таре,
черный тартар — в наземном кошмаре.
В тех гробах — невеселые трупы,
колыхаясь, стремятся к покою.
И стучат их ненужные зубы
друг о друга — с посмертной тоскою...
Ну, а маленький серый автобус
огибает вертящийся глобус.
И не все ли равно, как ты едешь:
в колымаге, в гробу, на земшаре,
и — что делаешь: думаешь, бредишь,
пребывая в кошмаре иль в таре...
Безразлично незнакомому Бога —
ч т ó несет ему тайна Итога.





ПОКАЯННАЯ ГОЛОВУШКА

За городом — лужи, месиво,
за вóртом — сыро, весело!
На стеклышках — морось нудная,
а солнышко — где ты, чудное?
Все видится невозвратное:
кормилица — мать опрятная,
и девушка в лунном трепете,
и дедушка в смертном лепете,
военная ширь пожараща,
смятенная тень товарища...
Видéния — неизгладимые...
Все — по́ сердцу, все — родимое!
Соловушка... Даль туманная...
Головушка покаянная!..





* * *

И слаще горьких мыслей — нет!
Уходит жизнь. Пришел рассвет,
как вызволение из могилы!
О, Царь небесный, дай мне силы —
себя в блужданиях превозмочь,
себя как мрак, себя как ночь,
дабы в груди возжегся свет!
Но... слаще горьких мыслей — нет.





ОДИНОЖДЫ ОДИН

Профессор кислых щей, пижон или кретин,
Христос иль Магомет — ах, кто ни умножай,
о д и н о ж д ы о д и н — получится о д и н.
Но и о д н о зерно пророчит урожай!

Мы все по одному — и раб, и господин.
Всяк сущий — одиночек, и гроб — всему итог.
О д и н о ж д ы о д и н — и в Греции о д и н.
О д и н — и Люцифер, и всемогущий Бог.

И ты, мой антипод, доживший до седин,
меня не обличай, учти: я — твой двойник.
О д и н о ж д ы о д и н останется один...
Но — от любви о д н о й весь этот мир возник!





* * *

Свет идет от огня.
Вот средь белого дня —
холм, а на нем — обитель.
Не покидай меня,
не отвернись от меня,
ангел-хранитель.

Я войду во врата:
поклон вам земной, места —
места святые.
Дайте, ради Христа,
огня мне: душа пуста,
глаза на мне пустые.

В трапезной — хлеб да соль.
Господней молитвы боль —
песнь неземная.
...Вновь дорожкой — вдоль...
Мила мне моя юдоль,
земля мне мила родная.





ЗАБЫТЫЙ КРЕСТ

Обнаружился он не в кумирне,
где склоняются Божьи рабы,
а в старинной московской квартире,
в ванной комнате — возле трубы.

Приходили друзья и соседи,
мыли руки, справляли нужду.
И никто этот крест не заметил,
хоть висел он у всех на виду.

Но однажды с оказией дивной
этот крест мне вернули друзья.
Года три в обстановке интимной
провисел он во тьме бытия.

Он вернулся ко мне... А другие
не вернулись. Хмельной вертопрах —
их оставил в житейской стихии
сиротеть на залетных ветрах.

Жил неряшливо, пыльно, дебильно,
без креста, без оглядки на страх...
Вот и матери крест надмогильный
затерялся в кавказских горах.





* * *

Возвращаясь с грибного пробега,
ощутил я коня за спиной.
А затем, приглашенный в телегу,
вдруг уснул на подстилке сенной.
...И во сне, миновав лихолетье,
разрушение и гибель сердец,
я проснулся... в начале столетья,
в том селе, где родился отец.
То есть — именно в Лютых Болотах,
где вокруг — непролазье чащоб.
А на тропке — глазастький кто-то,
и кудряшки скатились на лоб.
— Как тебя величать, цыганенок? —
так спросил я чудного мальчика.
— Яшка я, — отвечает ребенок. —
Твой отец. Узнаешь ли отца?
Улыбнулся, чирикнув, как птица,
а затем вопрошает всерьез:
— Что там в жизни со мною случится?
Ты ведь знаешь... Ответь на вопрос.
Рассказал я ему про аресты,
про увечные пытки войны...
Постоял он — и сдвинулся с места,
и потопал в объятья страны.
А потом обернулся оттуда
и спросил — без раскрытия рта:
— А любить меня в будущем будут?
— Да как всех... Кое-кто... Иногда.



* * *

Снаружи — храм. Хотя и без креста.
Внутри, как в черепае, зияет пустота.
Но как же пустота сия грязна:
обрезки мишуры, стекло из-под вина...
Не красный клуб здесь был и не вертеп:
всего лишь — цех, производящий ширпотреб.
На фресках — доски. Острия гвоздей
уходят в роспись, как в тела живых людей.
О, городок, в своем ли ты уме?!
На окнах — ржавые решетки, как в тюрьме.
Но стекол нет. Гуляет ветерок.
И сердце просится из склепа — за порог.
Не запустенье ощутила грудь,
но отвращенье! Как сюда вернуть
любовь и святость? Как избыть позор?
Чтоб просиял народа мутный взор!..
...Снаружи — храм. Хотя и без креста.
Внутри — Россия. В ожидании Христа.





ТРАВА ПОКАЯНЬЯ

Дух мнимой свободы из гордости соткан.
...Пустые глазницы грозненских окон —
куда они смотрят, не плача, не видя?
В пожары отмщения? В зубы обиде?
А что есть свобода? И присно, и ныне —
все те же узилища, вопли в пустыне!
На окнах свободы — все те же решетки
безбожья, безлюбья. И... взрезаны глотки!
Куда она манит, в какие просторы?
В кровавые реки, гнилые озера...
Но жажда пустых обгоревших глазниц
не знает любви, не имеет границ.
И нужно вдохнуть в эти окна пустые —
и свет, и Свободы черты молодые.
А смертную ненависть, вместо отмщенья, —
с годами — развеять молитвой прощенья.
И пусть зарастают гордыни деянья,
как пепел пожарищ, — травой покаянья...





* * *

Теперь, когда все меньше сил,
все круче бережок, —
я в сердце лампу погасил
и свечечку возжег.

Тускнее книжек корешки,
а свет икон — видней.
И запьянцовские дружки
все реже — в шуме дней.

...Свеча мертва. Ее пенек
погас. И страх велик.
Но жив лампадный огонек!
А с ним — и Божий лик.





* * *

Двадцатый век — гремящий, нервный,
похож на сникшую грозу...
Перешагну ли — в двадцать первый?
Скорей всего — переползу.

Еще каких-то три годочка —
и жахнет точка... с запятой;
стоит под застрехою бочка,
небесной полнится водой;

листва омытая сверкает,
и ласточка торчит в гнезде...
И жизнь чудесная такая —
всегда и, стало быть, везде.

Всегда! А счет векам — забава.
Счет дням — затея для тюрьмы...
...О дни сочтенные, куда вы?
Из царства света — в царство тьмы.





* * *

Хожу предсмертною походкою
по кромке ладожской воды,
оброс монашеской бородкою,
свершаю тихие труды...

Омытый банькою бревénчатой,
продутый рыбным ветерком,
живу — крещеный, но — не венчанный,
согретый русским языком.





* * *

А человеку много ль надо?
Проснуться, подоить козу.
Пустить ее в траву — за гряды.
Пошарить ягоду в лесу.
Обрить лужок косою сочный,
сварить похлебку на огне.
Сходить за пенсией на почту,
потом — на кладбище к жене.
И, тяжелея понемножку,
передохнув — опять в труды:
окучить юную картошку,
поднять колодезной воды.
Потом сложить сенцо в копешку,
лицо в реке ополоснуть,
поймать на удочку рыбешку,
прочитать молитву — и уснуть.





* * *

Над землей алеет шаль
заревая,
и течет с нее печаль
мировая.
Ниже — горбятся леса,
спят туманы.
И вошла в траву коса —
несмеяна.
Проступает в синеве
крест соборный.
И крадется по траве
луч проворный.
Паучок связует нить —
хочет кушать.
Кто, скажи, не хочет жить?
Даже — в луже?
Где деревья — там и пни
в жизни нашей.
Мысли черные гони
в шею, взáшей!
Пусть не Будда, не Федот —
Жизни Автор,
но сегодня — рассветет!
Да и — завтра.



* * *

Повышены ставки и цены,
на площади бдят старики,
и мечет певица со сцены
слова про любовь, как плевки.
У «русских» — другая походка,
осанка... Мосты сожжены.
Мистически булькает водка
из горлышка в горло страны.
В фаворе по-прежнему — хамы,
а в трепетных душах — тоска.
И службы в разверзшихся храмах
похожи на съезды ЦеКа.
Свершилось кровавое дело,
и тысячи глаз отцвели...

О, где ты, Пречистая Дева,
Заступница Русской земли...





* * *

В Кремле, как прежде, сатана,
в газетах — байки или басни.
Какая страшная страна,
хотя — и нет ее прекрасней...

Как черный снег, вокруг Кремля
витают господа удачи.
Какая нищая земля,
хотя — и нет ее богаче...

Являли ад, сулили рай,
плевались за ее порогом...
Как безнадежен этот край,
хотя — и не оставлен Богом!..





* * *

На склоне лет — а значит, зря —
меня спросили:
«Вот вы хотели бы — царя
опять — в России?»
...Принять меня за дурака,
когда мой поезд
стоит на станции «Тоска»,
на свалке то есть!..
Не до царя на склоне лет,
не до особы...
Мне до себя-то дела нет,
не токмо чтобы...
В стране, где всяк — и скот, и тварь,
и волком воеет,
всегда найдется государь,
а то — и двое.
Всегда найдется вор и враль,
ваятель денег...
Но только мне сия печаль
уже — «до фени».





* * *

Родина, дух мой слепя,
убереги от сомнений...
Разве я против тебя?
Против твоих завихрений!
Что же ты сбилась с ноги?
Или забыл тебя Боже?
Или тесны сапоги
красно-коричневой кожи?
Бодро шуршит ветеран
мимо камней мавзолея.
Мрачно вещает экран.
Слаще застолья и злее!
Корчится Вечный огонь.
Русь почернела святая...
...Нищий раззявил ладонь,
а ведь ладонь — молодая!





* * *

Не торопи события,
не запускай винтов:
я не готов к отплытию,
к отлету не готов.
Не досмотрел я озеро
и не дослушал птиц,
не дообнялся с осенью,
не досчитал зарниц,
не дочитал Евангелье,
людей не долюбил,
не дообщался с ангелом,
цистерну не допил,
не дорасстался с силою
и не окончил бой...
Не допрощался с милою
Отчизной и... с тобой.





ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ

Бессонница жметя к бывому солдату:
он землю купил по дешевке, по блату.
А что с нею делать — не знает, не мыслит.
Весна приближается. Снег уже киснет.
Напялив на лапы с трудом сапожищи,
он сходит с крыльца и глазищами рыщет,
в надежде соседские окна нашарить...
А ночь ему звезды холодные дарит.
Темно и бездонно... Но вот возле тына
сквозь темень мерещиться стала рябина.
И чавкая грязным неласковым снегом,
шагнул он в пространство — с неистовым смехом!
И мимо рябины в дремучее поле
потопал, как трактор, рыча поневоле.
И вскоре, споткнувшись о камень незримый,
упал, распластался наш почвенник мнимый.
И плакал... И пальцы его, как мокрицы,
сквозь слякоть и лед — добрались до землицы.
И так он лежал до сырого рассвета,
покуда сосед не окликнул соседа...





* * *

На руках моих — пятна и шрамы,
а в мозгу — отголоски войны.
Я себя извлекаю из ямы,
из которой лишь звезды видны.

Как попал я туда? Добровольно.
Просто рухнул от сущего — в тень.
Мне от сущего тошно — не больно,
потому что оно — каждый день.

Мне наружу карабкаться поздно.
Знать, судил мне Господь неспроста
видеть только далекие звезды,
а о ближних — забыть навсегда.





* * *

А ночь мне шептала, что речка в тумане,
течение Жизни — есть Божия тайна...

А я себе думал: меня не обманешь —
течение жизни возникло случайно.

Меня научило той правде крамольной —
молчание Бога. Не козни науки.

И мне уже как бы не страшно, не больно
земле отдавать себя в хищные руки.

Но я еще меряю землю шагами,
смотрю на цветы и небесные звезды.

И разве мы, Господи, стали врагами?

Мы просто чужие. И врать себе — поздно.

Мы просто не знаем друг друга. Нам ближе —
наплыв облаков, тишина листопада,
парящие птицы, намокшие крыши...

И с правдою тайна, живущие рядом.





* * *

Не комедия, не драма —
просто ночью иногда
заколоченного храма
скрипнут ржавые врата.
...Свет лампад сочится в щели,
хор: «Спаси и сохрани...»
И выходит в мир священник,
убиенный в о н ы дни.
Крестным знаменьем широким
осенит поля с холма
и блуждает, одинокий,
словно выжил из ума.
Архаичен в мире новом,
глядит в сторону небес —
и на храме безголовом
воссияет звездный крест.
Поп идет легко и прямо,
словно видит Божьи сны...
...Не комедия, не драма,
просто — ночь. М о е й страны..





* * *

Минус двадцать пять по Цельсию.
По скрипучей белизне
похоронная процессия —
мимо храма, как во сне...

Гроб несут четыре дяденьки,
позади — родни клочок...
И церковный голос сладенький
испускает старичок.

Кто он, умерший в суровую
пору жизни и зимы?
Человек, ступивший в новую
полосу... Такой, как мы.

Подогретые могильщики,
что долбили мерзлый грунт,
подогретые носильщики —
все построились во фронт.

Покадил священник-дедушка
над покойником дымком...
А потом упала девушка
в снег — беспомощным комком.





* * *

Как бы во сне, на дне развалин храма,
разбитого войной или страной,
лежали мы во власти Тьмы и Хама,
покрытые кровавой пеленой.

Сплетенные корнями сухожилий,
проклеенные вытечкой мозгов —
развратники, пропойцы, пыль от пыли,
лжецы и воры низких берегов.

И дьявол нас вычерпывал бадьею,
как сточные отбросы сплывших лет...
Но и меж сих, отвергнутых Судьею,
нет-нет и брезжил покаянный свет!





* * *

Когда утратил я дорогу
и ощутил в крови беду,
ты за меня молилась Богу
и свечку ставила Христу.
Сама уставшая, как пашня,
что возвратила урожай,
ты сохранила нежность к павшим.
Живи, светись — не утешай!
Сама утешься Бога ради.
Дай, загляну в твои глаза.
Останься жить в моей тетради,
как в майском облаке — гроза!





* * *

Отмается — не отбуянится,
к земле хлебосольной прильнет, —
поэт — не святоша, не пьяница,
а тот, что чирикал без нот.

На ветке, карнизе, на паперти
он пел, оглашая низы,
без веры, надежды и памяти...
И грызлись кремлевские псы!

И дымка плыла ядовитая,
и корчился русский язык,
и песня струилась забытая,
как будто расплавленный крик.





* * *

Любить себя способен всякий,
а кто не любит — тот урод...
Вот и Россия не иссякнет,
пока в ней есть «дурной» народ.
Народ — уродец бескорыстный,
жар сердца сливший на алтарь
Отечества...

В движеньях быстрый
и в мыслях истовый, как встарь!
Вот он спешит по бездорожью,
в глазах нескучных — синь и зной.
И пахнет чудик спелой рожью,
а не сивухой затяжной.





Мать поэта Галина Ивановна Горбовская в Новороссийске. 1973.
Здесь она скончалась 6 июня 1996 года.



* * *

На холме — церквушка-свечка.
Тишина и невеселость.
Иногда — небезупречно —
подает собачка голос.

На вершине снег обтаял,
ручеек — слезой — в низину.
Воробьишки сбились в стаю,
суеются, дразнят псину.

Милицейский — мимо — «газик»,
в нем, в наручниках — гулена.
Он не просто безобразник —
он из храма спер икону.

С колокольни без напора
ветхий звон зовет на требу...
Две старушки лезут в гору,
норовят — поближе к небу.





* * *

Когда истлеет память обо мне,
а также — явленные мною книги,
я в мир вернусь однажды по весне
цветком — для продолжения интриги.

Чтобы одним расширенным зрачком
на солнце посмотреть и стать неслышно —
оранжевым! И проторчать торчком
вторую жизнь, короткую, как вспышка!





ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД

Из книги «Остывшие следы. Записки литератора»

Могу без ложного стеснения сказать, что я подошел к нынешним, перестроечным (начало 90-х) годам очередного безвременья — не опустошенным, не растерянным, но вполне сориентировавшимся в себе, а значит, и в ситуации «текущего момента». И единственным извлеченным из ситуации вопросом, на который мне бы хотелось услышать ответ, умиротворяющий во мне патриота, это вопрос многих и многих поколений моей Родины: почему России выпало то, что... выпало? Почему — ей? Неужто — самая смиренная в долготерпении? Самая покладистая, а значит, и самая подходящая для экспериментов? Этаким полигон для всевозможных бесовских штучек. Или все-таки — избранница Господня? Чтобы, как положено, через страдания к звездам? Ради других народов, которые никогда теперь не последуют нашему примеру. А что — доказать миру, что путем насилия нельзя достигнуть благодати земной, — разве не цель, разве не результат? Разве не стоило во спасение мира пускаться нам во все тяжкие? Еще как стоило, ибо — зачтется.

Хотя в адресном справочнике Союза писателей против моей фамилии значится сверхъестественное, таинственнейшее слово **п о э т**, надо понимать, что этим словом официально подтверждается моя приверженность литературному жанру, а не профессия

вообще. Профессия, надо думать, всего лишь — писатель (по-чешски звучит как — списыватель). А метафорой «поэт» как бы высвечивается призвание («Его призвали всеблагие, как собеседника, на пир»). Вот так, и не меньше, естественно, при условии соответствия призыву в собеседники. Потому что здесь недостаточно самолично назваться груздем, чтобы попасть в кузов, то бишь — на поэтический Олимп. Да и кто на Олимпе-то у древних греков восседал? Так себе компашка: не милосердные боги, а скорее — знать процветающая и убивающая, зевсы и артемиды, всевозможные мойры и эроты, разъезжающие на своих золотых колесницах и разящие простых смертных стрелами своей вакхической (сиречь пьяной) любви, любви преступной, эдиповой и танталовой. С Олимпом — поостережемся. С присвоением звания Поэта повременим. Здесь необходимо дожидаться вынесения общественного вердикта, подтверждающего чье-либо право называться поэтическим... груздем.

Однако вердикта сего можно и не дожидаться. При жизни. А нередко и после нее. То есть — никогда. А поговорить все-таки хочется. О поэзии. Если не о тайне (таинстве), не о «поэтическом веществе», то хотя бы о стихах, о стихосложении. О довольно странном занятии, которому ты посвятил энное количество времени. Протяженностью в жизнь. Причем — напрасно. Ибо, как выяснилось в конце этой жизни, все действительно суета сует. И попробуй опровергнуть библейскую истину любой из нынешних истин «в последней инстанции»: эволюционистско-дарвинской, экзистенциалистской, марксистско-маоистской... Замучаешься, как говорят в автобусе.

Как дитя своего безбожно-бюрократического века, объясняясь в любви к поэзии, попробую прибегнуть к разлюбезной системе анкетирования. Для начала.

Как говорят современные мойры и хариты с гераклами, то бишь олимпийцы от бюрократии, — «на данном этапе». Итак — анкета. Точнее — импровизация на тему анкетирования.

1) Самое любимое стихотворение — «Выхожу один я на дорогу...». И здесь естественным будет спросить: а почему не из Гёте или Шиллера, не из Байрона или Мицкевича? И хорошо бы мгновенно признаться: а этих мы не проходили! За семью они для нашего брата, татуированного интеллигента, печатями, сии поэтические авторитеты. А из того, что просачивалось в наши мозги посредством несовершенного перевода, — не впечатляло.

2) Самая любимая поэма — «Мертвые души». Позвольте, скажут, но ведь это все-таки проза. Почему не отделаться, скажем, «Божественной комедией» Данте? Так ведь это ж — комедия... К тому же речь идет о любимом, а не о лучшем. Сойдемся на «Медном всаднике».

3) Самый любимый поэт — Александр Блок (почему не Блейк, Бодлер, Бродский или Белый-Бугаев?). А вот так.

4) Самая любимая поэтесса — Марина Цветаева (и еще одна, чья книжка стихов «Пустыню перейти» произросла на моих глазах, а это всегда потрясает, как если бы кто-то на твоих глазах вознесся на небеса — не на пресловутой Олимп).

5) Самая любимая песня — «Выхожу один я...». Позвольте, укажут мне на повтор. Хотя почему бы и не повториться? Несолідно? Тогда — «Липа вековая». На данный «текущий момент».

6) Самая любимая (поэтическая) проза — «Темные аллеи» И. А. Бунина (не Джойса, не Пруста, не Набокова даже).

7) Самый любимый роман — «Обломов» (чуть прежде — «Идиот»).

8) Самый любимый признак поэтичности стиха: метафора, зримая деталь, эпитет, сравнение, музыкальность, подсознательные ассоциации, интуитивный бред, формопоиск, «несказанный свет», все вместе плюс ясность фразы (мысли) даже при расплывчатости рисунка... Интонация личности. Но главный признак — все-таки убежденческий. Признак веры. Позвольте, воскликнет литературный дока, речь-то зашла о признаке стиха как такового, а не о его сотворителе! Что ж, тогда еще один признак — признак слитности, нерасторжимости поэтической воли и поэтического характера стихоматерии.

9) Самое любимое (большое, невероятное) событие XX века — люди на Луне, первый шаг Н. Армстронга.

10) Самое любимое (благое) событие наших дней, в нашей стране — встреча М. С. Горбачева с Патриархом Всея Руси Пименом.

11) Самое нелюбимое (разрушительное) событие всечеловеческой истории, предопределившее неисчислимое количество невинных жертв, — Великая Французская революция с ее вдохновителями-просветителями-энциклопедистами во главе с Дидро. Шутка? Издержки гласности? Да... нет. Всего лишь — ощущение. Почти энергетическая способность улавливать (предулавливать, постулавливать) разрушительные волны катастрофических колебаний мировоззренческой почвы под ногами.

Попробуем теперь проанкетировать что-нибудь попроще, позаземленнее, хотя и в некотором смысле литературное. То есть — как бы продлить тему. Попробуем, например, проследить произвольный список поэтов, не имеющих собственных (не книг)... могил.

Итак, где могила Н. С. Гумилева? Или усыпальница Николая Клюева? А Бориса Корнилова? Где холмик, венчающий «жизнедеятельность» Осипа

Мандельштама? Да, собственно, и цветаевской могилки мы не имеем — лишь камень, лишь знак, да и тот — над ее ли прахом?

Ох, Россия, Россия... Об Индии, где прах усопших принято сжигать и развеивать, речь не идет. Итак, Россия... Непредсказуема любовь твоя к чадам своим. Список можно продолжать, но лучше высказаться на сей счет при помощи рифм и ритмов, соответственно теме. И по возможности без употребления глаголов, то есть — концентрированно.

Россия. Вольница. Тюрьма.
Храм на бассейне. Вера в слово.
И нет могильного холма
У Гумилева.

Загадка. Горе от ума.
Тюрьма народов. Наций драма.
Но — нет могильного холма
У Мандельштама.

Терпенье. Длинная зима,
длинней, чем в возрожденье вера.
Но — нет могильного холма
и... у Гомера.

Легендарная Сапфо персональным захоронением тоже не располагает. Как, скажем, и поэт-моряк сталинской эпохи Лебедев, нашедший смерть в морской пучине, как Муса Джалиль, Павел Васильев... Всем им, как и всем остальным (во времени и пространстве) гражданам иных профессий и призваний, колыбелью, а затем и могилой исправно служит мать наша всеобщая — планета Земля. Которую чем дольше мы любим, тем изощреннее истязаем. Подсознательно воздавая кормилице (не по адресу!) за предначертанное нам свыше, за predetermined, неотвратимое, а главное — нераспознаваемое.

Но — к дьяволу анкетирование! Хочется поговорить о сокровенном без социальных придыханий, как Бог на душу положит. Только вот как это сде-

вать, чтобы — без актуальных соц-спец-добавок? Все равно что пищу без соли принимать. Неоднократные попытки отстранения в искусстве, ухода от суеты повседневности ни к чему целительно-милосердному, веросозидающему не приводили, устойчивого, наджизненного утверждения в творчестве, даже для себя, единого творца-затворника, — не работали. Наоборот, сооружения типа поэтических башен из слоновой кости служили не столько собором или сейфом для сокрытия тайнств самовыражения, сколько способом его выпячивания, элементом рекламы, ибо людское — для людей, иначе изъясняясь на языке воды, неба, ветра, камня, растений... Изображаемое создается для восприятия?! Пусть — наедине, однако наедине со всеми, а не... глас вопиющего в пустыне. В пустыне проще забыть о себе размышляющем — не о себе функционирующем, легче очиститься от творческих претензий и обратиться к спасителю твоего духа — к идеальной Истине. «Пустыня внемлет Богу», а не честолюбивым призывам изглоданного гордыней сердца художника (изобретателя, дельца, политика, философа и т. д.), а в нашем варианте — поэта, точнее — стихотворца, ибо такое — чаще.

Среди подлинных отшельников (схимников-пустынников, заточников-подвижников) никогда не было людей, писавших стишки или рисовавших картинки, ибо творчество есть прежде всего — зависимость от мира людей. А не освобожденность от него. Соображения сии не есть откровения, однако приводить их время от времени необходимо. Особенно в контексте наших дальнейших рассуждений о писательстве как способе самораскрытия.

Еще в середине пятидесятых, литературным подготавлишкой, сочинил я экспромтом лирическую поэму под названием «Риторика», в которой хотел объяснить с прозаическим миром о своем понима-

нии мира поэтического, о профессии стихотворца, о праве человека заниматься «слаганием стихов». В общем, один из многих самоутвержденческих опытов, а никакое не «произведение искусства» получилось. Прологом к «Риторике» служило ироническое двустишие, которое и запомнилось из всего, что составило то давнишнее лирическое поучение.

Поэзия есть божия коровка,
которую доить весьма неловко.

Выходит, уже тогда сознание было обеспокоено соображениями этического толка: священное действие лирического труда может ли оставаться бескорыстным, независимым? И ответ, забредший тогда же в душу: может, если этот труд исповедует любовь к ближнему, к красоте мира, исповедует, а не зависит от него, тем более — от ближнего или от себя любимого и т. д.

Спрашивается, а как же тогда обходиться с искушением славой, с ее, наконец, жаждой? А также с денежным соблазном, который не то чтобы мерещится, но официально предлагается государством-издателем в обмен на ваши «животрепещущие» откровения? Ведь именно эти «болотные огоньки» (слава, деньги, успех) сопутствуют профессиональному поэту, погруженному в «тайнство».

Для прояснения мысли (проблемы) стоит оглянуться на предшественников. Кого из них можно назвать бескорыстным, освобожденным? Федора Тютчева, о стихах которого заботились другие, скажем, Тургенев? (Первая книга Тютчева с тургеневским предисловием.) До какой-то степени да, освобожден. И прежде всего — от меркантильных нюансов (дипломат, поместье в Овстуге), но ведь не от тяжести самого поэтического дара избавлен! От него-то как избавишься? Разве что при помощи безумия?

Впечатляющ опыт Велимира Хлебникова, одного

из подлинных подвижников «поэтического братства». Утверждают, что он крайне небрежно относился к стихотворческим обязанностям, в том смысле, что таскал листки с текстами в заплечном мешке, подкладывая их себе под голову вместо подушки, раздавал, сорил ими... Короче — посыпал землю поэзией, как голову пеплом. И, однако же, провозглашал себя председателем Земшара. И вообще наверняка знал себе цену. Просто попал в «экстремальные условия» мирового катаклизма, имя которому — Революция, не наблюдал, а самолично переживал крушение «устоев», мировую разруху, распад нравов, вызревание хамства, безбожия, бесовщины, философии «мое — мне», ненависти к смирению.

Подлинно бескорыстного, до самоотречения, до «сердечной прозрачности» жития в поэзии в человеческом понимании этой проблемы я не представляю. Нет такого чуда в природе. А что же есть? А есть бескорыстие и самоотречение «в той или иной степени». И регулируют в тебе этот поведенческий коктейль благородные реактивы, как то: вкус, такт, норма, мера врожденной и обретенной интеллигентности, с неременной оглядкой на недремлющее око совести.

Другое дело, что в нынешнем «поэтическом воздухе» наметилась тенденция перевеса прагматического угарного газа над всяческими лирическими эфемерными наивностями и восторженностями.

Теперь многие в погоне за славой ставят прежде всего на скандал. Культ скандала возник не сейчас и не с «желтой кофтой» Маяковского (Есенин тоже откровенно величал себя скандалистом), а где-то, скажем, со времен наскальной живописи, когда пещерного художника вместо изображения тривиальных охотничьих сцен потянуло на изображение неких экстравагантностей, шокировавших устоявшуюся к тому времени мораль. И, глядишь, о ху-

дожнике заговорили... В том числе и... дубинками по его горбу. А в итоге — вкушение славы всегда в какой-то мере — осознанный мазохизм, добровольное самоистязание.

Надо бы назвать современных скандалистов от литературы поименно, но ведь они небось только этого и ждут. Страдающие комплексом Герострата в искусствах любят потоптаться и наследить, скажем, на белоснежном имени Пушкина, совершая с ним такие злодейские прогулки по страницам печати, или выступают на стотысячной аудитории разодетыми заморскими петушками, попутно употребляя в своих лирических стихотворениях выражения из уголовного обихода, свергают «авторитеты», чтобы с судорожной поспешностью занять их пьедесталы, мажут дегтем раскрепощенного хамства национальные святыни, короче говоря, ведут себя суетливо, даже болезненно, на манер бесноватых. Так что и осуждать их вроде бы грех. И дело не только в «бисере», которым не стоит одаривать всех подряд, но и в эффекте стаи: общаясь с волками, начинаешь невольно подвывать им.

Но главное, видите ли, никого не хочется обижать. Из соседей по веку. И — обнажать. Как на большой дороге. Современный литпроцесс — это тоже, видите ли, река, поток. Но ведь современная река больна. Мутны ее воды и ядовиты. И подтверждением тому эти строчки, не лишённые дьявольского сарказма.

Вчера, побывав у своего отца и прочитав ему десяток страниц, завершающих эту книгу, я несказанно был поражен тем, как воспринял он мои сумбурные размышления. О, девяностолетний старец не стал копошиться в словесных частностях, он ударил меня под дых и едва не свалил. Как медленно закипал я, наливаясь испарениями гордыни... И все ж таки

устоял, утихомирил ретивое, загнал его в угол, в тот самый, темный, подвальный угол «нутра натуры».

— Знаешь! — кричал отец. — Знаешь, чего у тебя нет?! В сочинении твоём литературном?! Любви! Любви не слышно... Тепла ее милосердного! Накручено, навёрчено, а любви не слышать! Все слова да слова, Бог да Бог! А ты вот сам не будь плох! Для людей Бог — это Любовь!

Отец кричал минут пятнадцать. Мне показалось, что с ним случилась истерика. И когда он внезапно затих, озираясь и виновато обхватывая голову ладонями, понял я, что это он — тоже от... любви. Ко мне, к моей судьбе. Вот он ощутил на страницах писанины холод, иней безлюбия и — вспылал протестом! И вряд ли его тревога вызвана одним только чуждым ему набором слов, которым воспользовался я в сочинении. Что слишком редко воспроизводил на бумаге слово Любовь — не в этом дело. А дело, скорей всего, в дыхании моего письма. Дыхание моего письма показалось ему тяжелым, отягощенным различными вредоносными примесями. А легкого дыхания не получилось. Из-за несвободы моей от... нелюбви. Из-за неочищенности моей крови, нервных клеток и узлов от земных примесей.

Дыхание стиля. Дефицит добра в «механизме», осуществляющем сие дыхание. Переизбыток треклятого «эго», себя любимого. Житие по Декарту: если Бога нет, то я — Бог! Стоит хотя бы памятью оглянуться — из конца в начало века, чтобы явственно ощутить некую аритмию стиля, зацепившись взглядом и слухом за прерывистое дыхание русской прозы и поэзии времен Великих Потрясений. Кристаллически собранный и одновременно язвительный стиль Василия Васильевича Розанова, особенно в его письмах, в «Уединенном» и «Опавших листьях», стиль и тон поэзии Марины Ивановны Цветаевой, где короткая рваная фраза, вся в точках и

словах строка ее стихотворений, то есть письмо, в котором как бы захлеб «ветром времени», явственные акценты литературного мышления двух ярчайших стилистов ущербной, убиенной России, где и в Розанове, и в Цветаевой прежде всего — лирика мысли, изнасилованной благими намерениями «друзей народа», превративших чуть позже тот самый народ в запуганную, окольцованную колючей проволокой «субстанцию», а миллионы и миллионы избранных — в так называемых «врагов народа».

И тут же захотелось высказать ересь: с возвращением (обнародованием) трудов В. В. Розанова, Н. Бердяева, К. Леонтьева, Вл. Соловьева, П. Флоренского, Н. Ф. Федорова, Н. Гумилева, В. Ходасевича, Георгия Иванова и др. нам не столько дают, сколько лишают нас тайны «запретного плода», прелести дефицита, тяги на их потусторонний берег, в их тускло мерцающую полуявь. Делают сказку былью. Мечту — предметом пользования.

Нет, что ни говори, а дыхание (личностное — мысли, интонации) требует немедленной передышки. Необходимо набрать воздуха. То есть расстаться с Книгой, чтобы не задушить ее «кормящей грудью» до потери пульса. Ибо мало-помалу, исподволь начинает тянуть на бред, в словесную заумь. Что не входит в наши планы. Вчерашняя встреча с отцом подтвердила мои сомнения в пользе второго, «искусственного» дыхания, в продлении «крика» самовыражения путем самоистязания. Прав отец: маловато любви в моих чернилах, а количества этого «витамина» путем разумных добавок не восполнишь. Даже прямым уколом в сердце. Для любви необходимо созреть. И дай Бог, чтобы это случилось при жизни. То есть — на ее «вещественной», дарвинистской половине.

СОДЕРЖАНИЕ

Николай Рубцов. В гостях 5

КОГДА КАЧАЮТСЯ ФОНАРИКИ НОЧНЫЕ...

50 — 60-е годы

Фонарики ночные.	9
Юность.	10
Визит. <i>Из цикла «Незабываемый 37-й»</i>	11
На Смоленском кладбище	12
Моей соседке	14
«Ребенок вымочил усы...»	15
«Если есть они, глазастые...»	16
Поэт из коммуналки	17
«Мы сидели чинно в парке...»	19
Земля	20
«Переехало собаку колесом...»	21
С полочки	22
Бывшие люди	23
На кладбищенской улице.	24
Каково?	25
Слезы женские.	26
«А землю трогает снежок...»	27
У своей могилы	28
Песенка про шофера.	29
Сквозь тернии к звездам. <i>Из книги</i> <i>«Остывшие следы. Записки литератора»</i>	31
Ах вы, груди!	53

На диване. <i>Песенка бедных художников</i>	54
«Все пою и пою...»	56
Песенка про постового	57
«Уходят праздные друзья...»	58
Ленинградская венерическая	59
Про султана.	60
Вечеринка	61
«Стану я, как гриб морской...»	62
«Мало толку в пейзажах...»	63
«Конкретно я любил Любашу...»	64
«Когда я Нюшу полюбил...»	65
На московском воздухе	66
«Человек уснул в метро...»	67
«А я живу в своем гробу...»	68
«Окутали тело могилой...»	69
Просьба	70
В ресторане	71
«Это песня, птичка-песня...»	72
«Божьих пташек непонятный лепет...»	73
«Лежу на дне коньячной речки...»	74
«Мне пора на природу...»	75
«На Колымском тракте — трактир...»	76
В общежитии	77
Бригада	78
«Какое страшное лицо!..»	79
В пути.	80
«Отпусти меня, боль, отпусти...»	81
«Пьет страна. Как туча — брашно!..»	82
«Что такое — деревня?..»	83
Мужик над Волгой	85

«Переулки Перми — деревяшки...»	86
Письмо из экспедиции.	87
«Хочу увидеть короля...»	88
«Разбудите меня через тысячу лет...»	89
«Человек застрелился...»	90
Старые газеты в Якутии	91
«Роскошь сытых обиталищ...»	92
«Русским словом — по морде...»	93
«Лежит раздавленная кошка...»	94
«Засыпает бабушка тревожно...»	95
«Я иду по уснувшей Неве...»	96
«Не хочется нынче ни песен...»	97
«Прощается женщина с мужем...»	98
На девятом этаже	99
«Веточки бронхов пухнут в зловонии...»	100
«Ругать Россию модно...»	102
«Проходя по улице вечерней...»	104
«Всю ночь собака лаяла надсадно...»	105
Домой.	106
«Два бандита сидели смиренно в пивной...»	107
За Полярным кругом.	108
«Из-под ног ушла дорога...»	109
«Смиренно, а не пламенно...»	110
«Последняя за окнами пурга...»	111
«Алеша, сбегай за любовью...»	112
«Разбавлю водку томатным соком...»	113
«В час есенинский и синий...»	114
Диссиденты	115
«На карауле не стоял...»	116
«Речка в Витебске — Витьба...»	117

Арифметик	118
«Ступа радио толчет хилые идейки...»	119
«У человека голова и руки...»	120
«Мне говорят: пиши о Ленине...»	121
«В человеке вспыхнула тревога...»	122
«На лихой тачанке я не колесил...»	123
Тюремная дорожка. <i>Из книги «Остывшие следы. . .</i>	124
<i>Записки литератора»</i>	

ВО ХРАМЕ БЫТИЯ
70—80-е годы

«Вы ему — о Шекспире...»	155
Объявления.	156
«Нет, не посулам-почестям...»	157
«Тревога позже родилась...»	158
«Лучшие люди»	159
Памяти Николая Рубцова.	160
«Возвращение в дом, под родное крыло...»	161
«У дороги, у самой развилки...»	162
Рождество	163
Мадонна	164
«Это были не райские кущи, ей-ей...»	165
Кто он?	166
Монументы	167
Праздник в Михайловском	168
«Розовела вода в свеженалитых лужах...»	169
Матери	170
Руки.	172
Тебе, Господи!	173
В омуте стихописания. <i>Из книги «Остывшие следы.</i>	
<i>Записки литератора»</i>	175

«Отчизна в поисках кормильца...»	185
Возле монумента	186
Во Храме Бытия.	187
Февральские стихи.	188
«Что ж, пожито в е с ь м а!..»	189
Урод.	190
В. М. Шукшину.	191
«Вдали от глаз людских, от бременного труда...».	192
Еще	193
«Нет ничего на этом берегу...»	194
«Очнуться от прокисших нег...»	195
Тонкая рябина. <i>Рассказ шофера</i>	196
Зачем	198
«Блуждаю в прошлом, как подлодка...»	199
«Он звал меня, как пить просил — глоток!..»	200
«Я в этот город больше не вернусь...»	201
«Заглохший сад, порожняя изба...»	202
Художнику-модернисту.	203
«Все постепенно: красота подспудно зреет в юном лике...»	204
На пустыре	205
Улыбка.	206
Недостроенный дом	207
Босиком	209
«Шумит за окном затяжной...».	210
Крестьянские дети	211
«Восславим свежий хлеб, газетный лист...»	212
Ушедшие.	213
Русская церковь.	214
Очевидец	215

Покаяние	216
«Присутствую при снегопаде...»	217
Мертвые слова	218
Любителям России	219
«Сжигать натруженные нервы...»	220
«О цветке поведал гений...»	221
Пустыня	222
«Тепло. Внезапную жару...»	223
«Дождь молится на крыше...»	224
Соловьи	225
В Петропавловской крепости	226
Красное и белое	227
Сорокоуст	228
Притча о первопричине зла	229
Третьи	230
Музыка.	231
«Я схоронил свою мечту...»	232
«Лампада над книгой потухла...»	233
Я вернусь	235
Жернова	236
«Когда устанете глаголить о генсеке...»	237
Баба Дуся	238
Ночь под Рождество	239
Вразрез.	240
Безглагольное	241
«Кресты»	242
Падший ангел	243
Квартира номер шесть. <i>Из книги «Остывшие следы. Записки литератора»</i>	245

ПОКАЯННЫЙ СВЕТ
1990 — 2000-е годы

19 августа 1991. (<i>Частушка</i>)	279
Раб божий	280
Французские капли	282
«Вот мы Романовых убили...»	283
«В музее монументов...»	284
Тьма внешняя	285
«Выцветшие мелочи, утлый дачный быт...»	286
«Отверстые двери вчерашнего склада...»	287
«Под собой не чуя ног...»	288
«Сердце выдохнется и умрет...»	289
«Среди деревьев возле дачи...»	290
«Всю ночь сухие травы...»	291
«Рассвет сквозь иглы сосен...»	292
«Чахоточная черная зима...»	293
«Душа еще жива...»	294
«Птички до рассвета весело поют...»	295
«Тополя набухли влагой...»	296
«Больница, психушка. Решетки стальные...»	297
«Вновь отпылала заря...»	298
«Россия — далеко не храм...»	299
Ванюша	300
«Во дни печали негасимой...»	301
«В атмосфере дремучей, огромной...»	302
«Во дни утрат, усилий ложных...»	303
«Во храме, разоренном, как страна...»	304
«Зима. В окне стоят дымы...»	305
Угловая двенадцатая... <i>Из книги «Остывшие следы. Записки литератора»</i>	307
Анна	322

Народ	324
«Не спеши уходить...»	325
Участник парада Победы	326
Лестница	328
Перекресток	329
Старые слова	330
Слова	331
«Свобода личности»	332
Серый автобус	333
Покаянная головушка	334
«И слаще горьких мыслей — нет!...»	335
Одиножды один	336
«Свет идет от огня...»	337
Забывтый крест	338
«Возвращаясь с грибного пробега...»	339
«Снаружи — храм. Хотя и без креста...»	340
Трава покаянья	341
«Теперь, когда все меньше сил...»	342
«Двадцатый век — гремучий, нервный...»	343
«Хожу предсмертную походкою...»	344
«А человеку много ль надо?..»	345
«Над землей алеет шаль заревая...»	346
«Повышены ставки и цены...»	347
«В Кремле, как прежде, сатана...»	348
«На склоне лет — а значит, зря...»	349
«Родина, дух мой слепя...»	350
«Не торопи события...»	351
Землевладелец	352
«На руках моих — пятна и шрамы...»	353
«А ночь мне шептала, что речка в тумане...»	354

Не комедия, не драма	355
«Минус двадцать пять по Цельсию...»	356
«Как бы во сне, на дне развалин храма...»	357
«Когда утратил я дорогу...»	358
«Отмается — не отбуянится...»	359
«Любить себя способен всякий...»	360
«На холме — церквушка-свечка...»	362
«Когда истлеет память обо мне...»	363
Запретный плод. <i>Из книги «Остывшие следы.</i> <i>Записки литератора»</i>	364



Литературно-художественное издание

Глеб Горбовский
ПАДШИЙ АНГЕЛ

Редактор *И. Топоркова*
Художественный редактор *А. Новиков*
Технический редактор *В. Бардышева*
Компьютерная верстка *Т. Комарова*
Корректоры *С. Иванова, С. Кудряшева*

Налоговая льгота — общероссийский классификатор
продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 20.02.2001.
Формат 70×100 ¹/₃₂. Гарнитура «Петербург».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,6.
Тираж 5100 экз. Заказ 2868

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93

ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс»
Изд. лиц. № 065377 от 22.08.97.
125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, подъезд 3.
Интернет/Home page — www.eksmo.ru
Электронная почта (E-mail) — info@eksmo.ru

Книга — почтой:

Книжный клуб «ЭКСМО»
101000, Москва, а/я 333. E-mail: bookclub@eksmo.ru
Дистрибьютор в США и Канаде — Дом книги «Санкт-Петербург»
Тел.: (718) 368-41-28. Internet: www.st-p.com

Оптовая торговля:

109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2
Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

ООО «Медиа группа «ЛОГОС»
103051, Москва, Цветной бульвар, 30, стр. 2
Единая справочная служба: (095) 974-21-31
E-mail: mgl@logosgroup.ru
contact@logosgroup.ru

Мелкооптовая торговля:

117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1
Тел./факс: (095) 932-74-71
ООО «Унитрон индастри». Книжная ярмарка в СК «Олимпийский».
г. Москва, Олимпийский пр-т, д. 16, метро «Проспект Мира».
Тел.: 785-10-30. E-mail: bookclub@cityline.ru

ISBN 5-04-007285-6



9 785040 072859 >



**Лев
ГОРЬОВСКИЙ**

Очень странная страна,
не поймешь — какая?
Вышла — власть была одна.
Закусила — другая.

Паруший ангел